



ПОЛЬ ЛАФАРГ

ЯЗЫК И РЕВОЛЮЦИЯ

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
ДО И ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ

ОЧЕРКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ БУРЖУАЗИИ

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО
Т. ФАЛЬКОВИЧ И Е. ШИШМАРЕВОЙ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ
И СО ВСТУПИТЕЛЬНОЙ СТАТЬЕЙ В. ГОФФЕНШЕФЕРА:
„ЛАФАРГ И ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА“

« А С А Д Е М И А »

МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

1 9 3 0

PAUL LAFARGUE

LA LANGUE FRANÇAISE AVANT
ET APRÈS LA REVOLUTION

ОБЛОЖКА ПО РИСУНКУ
ХУДОЖНИКА А. Н. ЛЕО

Ленинградский Областлит № 60136. Тираж 3.070—3 л.
Заказ № 1200. Гос. тип. им.
Евгении Соколовой.
Ленинград, пр.
Кр. Команди-
ров, 29.

В. ГОФФЕНШЕФЕР

ЛАФАРГ И ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА

[ВМЕСТО ВВОДНОГО КОММЕНТАРИЯ]

В наших ожесточенных литературоведческих спорах мы уделяем мало внимания прошлому. Марксистскому литературоведению можно смело бросить упрек в том, что оно слабо изучает классиков марксистской критики в особенности — западных. Отдавая должное даже таким второстепенным и сомнительным в своем марксизме русским литературным критикам, как напр. Ангел Богданович, наши литературоведы проходят мимо крупных и значительных фигур западноевропейской марксистской критики. Так случилось и с литературным наследием Поля Лафарга. Показать облик Лафарга - литературоведа — задача подготовляемой нами к печати специальной работы. Здесь мы хотели лишь охарактеризовать в кратких чертах его деятельность в области языкознания и, в частности, его статью о языке и революции.

•

„Все проходит через слова и все отыскивается в них“. Это изречение одного из первых французских представителей „теории среды“ М-м де-Сталь стало исследовательским девизом Лафарга. В своих исследованиях о первобытной культуре Лафарг придает лингвистическому анализу огромное значение. Исходя из тех соображений, что язык отображает эволюцию человеческого общества, автор „Происхождения идей“ вскрывает посредством лингвистического анализа эволюцию производительных сил и производственных отношений глубочайшей древности. Но используя язык как средство для вскрытия общественно-экономической эволюции

человечества, Лафарг одновременно материалистически обосновывает явления языка от его простейших форм до наполнения языка абстрактными понятиями. Навряд ли кто другой с такой стройностью и яркостью доказал происхождение абстрактных идей из конкретных понятий и роль в этом экономической эволюции, как это сделал Лафарг в своих работах „О происхождении собственности“, „Происхождении идей“ и в своих исследованиях по мифологии („Миф об Адаме и Еве“, „Миф о Прометее“ и др.).

В методологическом отношении на марксиста Лафарга оказали большое влияние французские представители „теории среды“. Но еще бóльшую дань он отдал основателю философии истории — Вико, о котором он упоминает в своей работе о языке и революции и к которому часто обращается и в других своих работах. Учение о происхождении абстрактных понятий, по которому возникновению абстрактного мышления предшествовало возникновение конкретного языка, а языку слов — язык знаков и жестов, — было выдвинуто именно „неаполитанским философом“, указавшим при этом, что явления языка стоят в прямой зависимости от окружающей человека естественной среды. Взяв схему автора *Scienza Nuova*, Лафарг конкретизирует ее, рассматривая ее в свете экономического детерминизма, учитывая не только факторы „естественной среды“, но в еще большей степени и факторы среды социально-экономической.

В связи с этим стоит интересная проблема обусловленности происхождения и развития языков. Исходя из учения Вико об идентичности стадий развития различных народностей, учения материалистически обоснованного в дальнейшем в предисловии к „Капиталу“ Марксом („Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего“), и опираясь на собственные исследования, Лафарг объявляет войну буржуазным ученым, ищущим единого языкового Адама, давшего начало всем языкам, и совер-

шенно игнорирующим социологическую обусловленность развития последних.

„Язык не может быть отделен от своей социальной среды так же, как растение не может быть оторвано от свойственной ему среды климатической. Лингвисты обычно не понимают влияния среды и пренебрегают им; многие из них ищут происхождения слов и даже мифологических сказаний просто в санскрите. Санскрит для языковедов то же, что френология для антропологов: это их „Сезам откройся!“ ко всему необъяснимому... Результаты этимологических изысканий ориенталистов должны были бы быть менее противоречивы для того, чтобы заставить нас отказаться ради их метода от теории среды, которая постепенно становится преобладающей во всех отраслях естественных и исторических наук“ („Язык и революция“).

Несмотря на то, что Лафарг говорит о лингвистах конца прошлого столетия, полемический тон его замечания сохраняет всю свою заостренность и для нашего времени. Еще и в наши дни, и на Западе в особенности методологический консерватизм в области языкознания достаточно силен. Достаточно указать, на то, что наряду с социологическими тенденциями у многих языковедов Франции и Америки, мы видим там, например, и упорное отстаивание далекой от научного социологизма генеалогической классификации. Характерный пример являет виднейший из современных индоевропейцев Антуан Мейе, который, возглавляя т. н. социологическую школу в языкознании одновременно отстаивает генеалогическую классификацию как *единственно* ценную и полезную.

Особенно упорную борьбу вел Лафарг с индо-европейцами в области тесно связанных с языкознанием мифологии и религии. И как всегда вел эту борьбу не столько теоретически, сколько практически. Ярким примером этого практического опровержения буржуазных теорий является его исследование „Мифа о Прометее“, в котором

он, в противовес М. Ф. Бодри, опровергает арийское происхождение мифа и самого имени Прометея и связь этого имени с санскритским корнем „огонь“. Он производит имя Прометея от греческого глагола „предусмотреть“, а самый миф рассматривает как отображение борьбы, раздиравшей племена в эпоху смены матриархата патриархатом, а также событий „разбивших патриархальную семью и подготовивших возникновение буржуазной семьи, состоящей из одного хозяйства, семьи, существующей и ныне“.

Отрицая существование единого праязыка, Лафарг в то же время соглашается со многими принципами сравнительного языкознания („Миф об Адаме и Еве“). Но сама постановка проблемы сравнительного языкознания, в таком виде, в каком ее дает Лафарг, в корне отличается от постановки ее у ученых идеалистов. В то время как последние объясняли идентичность языковых явлений у разных народов единым праязыком и апеллировали к индивидуальной психологии, а подчас и к наивной теории „возрастного“ развития человечества. Лафарг переносит вопрос в плоскость экономическую, причем ставит этот вопрос весьма широко, т. е. не только в отношении языка, но и в отношении идеологических надстроек вообще.

„Если историческое развитие проходит через аналогичные семейные, собственнические, юридические и политические организации, через аналогичные формы философской, религиозной, художественной и литературной мысли, то это только потому, — говорит Лафарг, — что народы, независимо от их расового происхождения и географической естественной среды, должны в своем развитии испытать крайне сходные материальные и духовные потребности и должны для удовлетворения этих материальных и духовных потребностей прибегнуть к *одинаковому способу производства*“ („Исторический метод К. Маркса“).

Мы лишены здесь возможности изложить задетые вопросы более подробно. Надеемся, что это сделают наши языковеды, которые *должны*, наконец, заняться Лафаргом, ибо можно, не боясь преувеличений, сказать, что работы Лафарга о языке и мифах имеют для нас не только историческое значение; они весьма актуальны и в наши дни. Актуальность их подчеркивается современными оживленными спорами вокруг проблем языкознания. Более того, мы берем на себя смелость утверждать, что по ряду существеннейших вопросов: 1) по отрицательному отношению к теоретикам единого праязыка; 2) по утверждению обусловленности происхождения языка факторами производительных сил; 3) по рассмотрению эволюции языка, как отображения состояния производительных сил, производственных отношений и классовой борьбы, и, наконец, 4) по историко-материалистическому объяснению абстрактной семантики из конкретного языка и жестов — установка Лафарга как бы предвосхитила пути современного марксистского языкознания, а в общих чертах — и близкую к нему систему акад. Марра.

Необходимо учесть, что мы имеем здесь с одной стороны теоретика и практика марксизма, вторгнувшегося в область языкознания случайно, а с другой — крупного языковеда-специалиста, детально развернувшего свою систему, что оба они подошли к проблемам языка с различными целями и пришли к своим выводам различными путями. Вот почему близость этих выводов крайне знаменательна и должна возбудить у наших языковедов интерес к работам Лафарга.

*

Экономическая обусловленность языковых явлений, как и идеологических надстроек, значительно осложняется тогда, когда мы переходим от первобытной культуры к современности. Навряд ли нужно здесь упоминать общеизвестные слова Плеханова о разнице в характере

обусловленности танца австралийской туземки и искусства современного общества и о „пятичленной формуле“ обусловленности идеологических надстроек. Исследование Лафарга о французском языке эпохи великой революции полностью подтверждает всю сложность применения марксистского метода к изучению языковых явлений.

Статья эта находится в тесной связи с рядом исторических этюдов Лафарга об эпохе революции и, в особенности, с работой его о происхождении романтизма, напечатанной два года спустя после появления „Французского языка“.

Обе эти статьи, дополняя одна другую, дают яркую картину литературной жизни и борьбы за бытовую и литературный язык в годы предшествовавшие революции и в первое десятилетие XIX в. Эпоха Великой революции приковывает к себе внимание Лафарга на протяжении всей его жизни. Ибо, по его словам, эта эпоха ярче, чем другие, дает возможность уяснить воздействие социальной жизни на идеологию и в то же время в ней можно найти корни идеологических явлений, характеризующих в дальнейшем „интеллектуальный облик“ буржуазии („Происхождение идей“). Этим объясняется подзаголовок „Очерки происхождения современной буржуазии“, данный им к статье о французском языке и революции.

Исследование о происхождении романтизма, в котором Лафарг показал причудливое сочетание идеологических тенденций дворянства, „испугавшегося якобинцев“, с языковыми тенденциями тех же „якобинцев“, было бы невозможно или, во всяком случае, не полно, если бы ему не предшествовала работа о влиянии революции на язык. Работа эта представляет собою редкий образчик применения диалектического анализа к идеологическим явлениям. Она интересна для нас в трех разрезах: с точки зрения отображения в языке классовой борьбы, с точки зрения анализа языка, как оружия этой борьбы, и с точки зрения анализа распределения социальных сил в борьбе

посредством языка и за язык. Увлекательно развертывая перед читателем картину борьбы за язык, затрагивая побочно и литературные проблемы, Лафарг подчеркивает всю сложность этой борьбы, остро схватывая все ее перипетии и противоречия, такие казалось бы парадоксальные явления, когда дворянство становится проводником и защитником языка „третьего сословия“ а „третье сословие“ с пеной у рта отстаивает языковые традиции дворянства.

Тот, кто *всегда* хочет видеть у того или иного класса *прямое* совпадение социально-политических и идеологических тенденций, ничего не поймет в изображенной Лафаргом сложной борьбе. Лафарг показал, что объяснить все эти сложные и противоречивые явления можно лишь при диалектическом подходе к ним, при учете не только возможности идеологического „переключения“ отдельных представителей того или иного из борющихся классов, и не только возможности „переключения“ идеологии той или иной социальной прослойки, но и возможности и исторической необходимости перемещения позиций и изменения лозунгов в каждый данный отрезок времени и в каждой отдельной области. Тогда станет ясным почему часть революционно настроенных философов, провозглашающих политические лозунги буржуазии, защищает язык, выработанный в аристократических, салонах, почему дворянская аристократия в борьбе с буржуазией опередила последнюю и раньше ее легализировала в печати „вульгарный“ язык своего противника и почему буржуазия, укрепившись на политических позициях, изменила „свободным проявлениям“ в области языка и толкнула своих ученых в лагерь неистовствующих пуристов. Как бы ни были парадоксальны некоторые объяснения Лафарга, но статья его в целом должна послужить примерным образцом диалектического анализа идеологических явлений и в частности явлений языка в эпоху обострения классовой борьбы.

Для русских языковедов статья Лафарга приобретает особый интерес. Она дает много материала, который сам собою напрашивается для сопоставления с языковыми явлениями послеоктябрьской эпохи. Но марксистских работ о русском языке до и после Октябрьской революции нет. Единственная же книга, посвященная этому вопросу, — книга проф. А. Селищева „Язык революционной эпохи“ — является примером того, как некоторые ученые упорно не хотят уяснить сущность подлинной марксистской науки о языке. Положив в основу своей книги общую схему лафарговской статьи, Селищев компенсирует свой „либерализм“ нормативным подходом к языку и махровым пуризмом, лишний раз подчеркивающим, что примерный образец диалектико-материалистического анализа безпримерно искажен в кривом зеркале консервативного идеалистического мышления.

*

Статья Лафарга „Французский язык до и после революции“ была напечатана в феврале 1894 г. в недолго просуществовавшем французском журнале научного социализма „L'Ère nouvelle“. Кратковременное существование журнала, сделавшее его сейчас вне Франции почти библиографической редкостью, и социалистическая ориентация его, не привлекавшая к нему внимания буржуазных ученых-языковедов, привели к тому, что работа Лафарга оказалась в разряде малоизвестных. В 1912 г., в годовщину смерти Лафарга, в „Ergänzungshefte zur „Neue Zeit““ появился немецкий перевод этой работы, сделанный Карлом Каутским-младшим и им же снабженный примечаниями. Не знаем, что здесь сыграло большую роль — склонность ли Каутского к вольному изложению, стремление ли к популяризации или наличие под рукой оригинальных рукописей, расходящихся с текстом „Ère nouvelle“ — может быть, все вместе, — но немецкий перевод часто, правда в мелочах, расходится с француз-

ским текстом. При сопоставлении их оказывается, например, что в немецкий перевод „Французского языка“ вклиниваются фразы, которых во французском подлиннике нет и которые при ближайшем рассмотрении оказываются заимствованными из других работ Лафарга. Что касается примечаний, то они сводятся по преимуществу к сухому аннотированию незнакомых немецкому читателю французских имен. Но каково бы ни было качество перевода, появление его в „Neue Zeit“ популяризировало работу Лафарга. Именно к этому переводу по преимуществу и обращались те, кто знакомился со статьей Лафарга.

На русском языке, несмотря на широкое использование ее некоторыми авторами, как, например, Константином Державиным в его статье „Борьба классов и партий в языке Великой французской революции“,¹ — статья эта как, впрочем, и многие другие работы Лафарга, не появлялась. Еще в 1926 г. мы указывали на желательность перевода этой исключительно интересной работы Лафарга². И только сейчас представилась возможность предложить ее вниманию советского читателя.

В основу перевода положен французский текст, который сопоставлялся для уточнения ряда моментов с переводом Каутского.

Над французским текстом работала Е. Шишмарева, над немецким — Т. Фалькович.

Сентябрь, 1929 г.

¹ См. сборник „Язык и литература“, том II, вып. I, Леп. 1927, Изд. Института языка и литературы при Лен. Гос. Университете.

² См. „Печать и Революция“ 1926, кн. 2-я, стр. 212.

ПОЛЬ ЛАФАРГ

ЯЗЫК И РЕВОЛЮЦИЯ

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК ДО
И ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ

I

ЯЗЫК И СРЕДА

Подобно живому организму, язык рождается, растет и умирает; в продолжение своего существования он проходит ряд эволюций и революций, усваивая и отбрасывая слова, речевые комплексы и грамматические формы.

Слова каждого языка, так же как клетки растения или животного, живут своей особой жизнью: их фонетика и орфография меняются беспрестанно. Так, по старо-французски писалося *prestre* (теперь *prêtre*—священник), *coqnoistre* (*connaître*—знать), *carn* (*chair*—мясо, плоть), *charn* (*charnel*—плотский) и т. д. Значение слов также изменяется: *bon* (употребляемое сейчас как прилагательное—хороший), употреблялось прежде в смысле: добро, милость, польза, преимущество, желание и т. д.¹ *Jean le Bon* (современное: добрый Жан) обозначало—храбрый, доблестный Иоанн; *bonhomme*, бывшее синонимом человека смелого и мудрого, стало насмешливым эпитетом (добродушный и недалекий человек).

Греческое слово *νομός* (*nomos*), давшее французское *nomade* (кочевой) имело целый ряд

¹ *La Curne de Sainte-Palaye, Dictionnaire de l'ancien langage françois depuis son origine jusqu'au siècle de Louis XIV* (Словарь старо-французского языка от его возникновения до эпохи Людовика XIV).

различных значений, которые, на первый взгляд, казалось бы ничем не связаны между собой; оно употреблялось вначале, как „пастбище“, затем — как „место стоянки“, „местожительство“, „раздел“, и под конец обозначало „привычка“, „обычай“, „закон“. Различные значения слова νομός указывают этапы, пройденные народом, который из пастушеского становится оседлым, занимается земледелием и приходит к созидаанию законов, т. е. к закреплению привычек и обычаев.¹

Если язык развивается, непрерывно видоизменяясь, то происходит это потому, что он является самым непосредственным и характерным продуктом человеческого общества. Дикие, варварские племена, которые, разделившись, ведут изолированный образ жизни, перестают через некоторое время понимать друг друга — настолько изменяются их диалекты.

Язык отражает каждое изменение, происходящее в человеческом существе и в среде, где оно развивается. Изменения в образе жизни человеческого общества, как например, переход от сельского образа жизни к городскому, также как и политические события, оставляют отпечатки на языке. Народы, у которых политические и социальные события проходят интенсивно, быстро изменяют и свой язык, между тем как у народов, не имеющих истории, развитие языка останавливается.

¹ В своем „Исследовании о происхождении идеи справедливости и добра“ („Revue philosophique“, сентябрь 1885) я пытался доказать, что, восходя к первобытным значениям слов, мы приходим к объяснению происхождения в человеческом мозгу абстрактных понятий, которые до сих пор считались врожденными.

Язык Раблэ через сто лет после его смерти был понятен только ученым, в то время как исландский праязык, родивший наречия норвежское, шведское и датское, сохранился в Исландии почти неизмененным. •

Вико первый отметил „лесное и полевое“ (selvagge e contadinesche) происхождение большинства слов. Как в Риме круглые мраморные храмы увековечили форму деревянных и глиняных хижин дикарей Лациума, так и в языке каждого культурного народа слова носят отпечаток дикой жизни первобытных людей. Греческое γόνυ (gone) последовательно обозначало: семя, плод, детеныш животного, ребенок; σπέρμα (sperma)—семя, зародыш, род; очень значительно количество слов, образованных из греческого βόϋς (boûs)—бык (франц. bœuf). Французский язык, имеющий много слов эллинского происхождения, также заимствовал некоторые из этих образований, как, например: bouvier (волопас), bouvart (молодой бык), bouvard (монетный чекан), bouillon (бульон), bousculer (толкать,-ся), bouse (коровий навоз), bouffer (старое: есть бычье мясо, современ.: есть с жадностью), bouffon (шут). В Афинах βοῦφόνος (bouphonos—убивающий быка) назывался жрец Зевса, „городской пастух“, поражающий быка, обвиненного в том, что он ел жертвенные приношения с алтаря бога. Жрец должен был разыграть представление до и после этого заклания (Pausanias I, XXIV).

Обиходные выражения и пословицы показывают, быть может еще яснее, чем отдельные слова, те нити, которые связывают язык с явлениями окружающей жизни. В те времена, когда сальная свеча была главным средством

освещения, она служила поэтам образом для благородных сравнений. Так Ронсар восхвалял одну даму, говоря: „ее глаза сверкали как свечи“. В словаре de Trévoux за 1743 г. мы читаем: „про очень живые, блестящие глаза говорят, что они сияют как свечи“. „Économiser des bouts de chandelles“—экономить огарки (впоследствии—вообще скряжничать) „le jeu ne vaut pas la chandelle“—игра не стоит свеч, „se brûler à la chandelle“—обжечься на свече,— всё это обиходные выражения, которые бледнеют со времени появления керосиновой лампы, стеариновой свечи и газа.

Язык не может быть отделен от своей социальной среды так же, как растение не может быть оторвано от свойственной ему среды климатической. Лингвисты обычно не понимают влияния среды или пренебрегают им; многие из них ищут происхождения слов и даже мифологических сказаний просто в санскрите. Санскрит для языковедов то же, что френология для антропологов: это их—„Сезам откройся!“ ко всему необъяснимому. Читатель ужаснулся бы, если бы я привел бесконечный список слов, которые один знаменитый ориенталист производит от санскритского „блестеть“. Кроме того, результаты этимологических изысканий ориенталистов должны были бы быть менее противоречивы для того, чтобы заставить нас отказаться ради их метода от теории среды, которая постепенно становится преобладающей во всех отраслях естественных и исторических наук.

Теорию среды ввела во Франции гениальная женщина, применив ее в литературной критике. Но хотя в своей работе „De la littérature

dans ses rapports aux Institutions sociales“ („О литературе в связи с общественными формами“, 1800 г.) М-м де Сталь решительно утверждает необходимость новой литературы для удовлетворения новых потребностей социальной среды, созданной Революцией, она только мимоходом и то с осуждением касается преобразования языка, этого главного орудия литературы.¹ После революции и разрушения ancien régime было также невозможно довольствоваться старой литературой эпохи Людовика XIV, как и продолжать говорить на ее языке.

Изучение характера и значения этого изменения языка является задачей моей статьи.

¹ Тэн с первого своего выступления обеспечил себе успех, применяя теорию среды в своих замечательных литературных этюдах. Если бы он, при своей большой эрудиции, упомянул о книге М-м де Сталь, можно было бы подумать, что это она внушила ему его литературные теории и что от нее он позаимствовал свою критику писателей XVII в. Читатель оценит тонкость и глубину работы М-м де Сталь по выдержкам, которые я приведу в этой статье.

II

ЯЗЫК ДО РЕВОЛЮЦИИ

После того как 18 июля 1793 г. была распущена Французская академия, Национальный конвент в первый дополнительный день III (1795) года постановил, чтобы „снабженный примечаниями на полях экземпляр Словаря французской академии, хранимый в библиотеке Комитета народного просвещения, был передан для опубликования книгоиздателями Smits Maradau et C^{ie},.. указанные книгоиздатели, совместно с выбранными ими учеными литераторами, должны приступить к работам по подготовке издания этого труда с тем условием, что они выпустят его в количестве 15 000 экземпляров, из которых определенное количество будет предоставлено национальным библиотекам“.

В VI (1798) году это (пятое) издание Словаря Академии поступило в продажу по цене 24 ливра за экземпляр; в начале его издатели поместили предисловие, а в конце дополнение, которые были, однако, написаны уже не членами покойной Академии. Во вступительной статье оказались такие ереси, которые ужаснули бы Вольтера гораздо больше, чем возвращение иезуитов. „Мы считаем доказанным, говорится там, что нельзя принимать

язык высшего света за владыку, который распоряжается и правит всем, так как высший свет и мыслит и говорит очень плохо. И, в конечном счете, существует громадная разница между изысканным языком, созданным причудливой фантазией светского общества, и языком хорошим, основанном на естественных взаимоотношениях слов и понятий". Вольтер как-то сказал, что его „огорчает, что как в языке, так и в других, еще более значительных областях, чернь руководит лучшими людьми нации". А дополнение, которое содержало 336 слов, созданных или введенных Революцией, подтверждало торжество этой черни.

И новаторы, и консерваторы яростно критиковали это издание Словаря. Новаторы—и их было не мало—упрекали издателей в том, что значительному количеству новых слов они закрыли доступ на страницы этих двух томов. Мерсье, начавший еще до революции борьбу с языком и литературой эпохи Людовика XIV, напечатал в 1801 г.—в виде протеста против этого лексикографического ostrакизма—свою „Неологию" или „Словарь 2 000 новых слов". В 1831 г. одно грамматическое общество выпустило „Добавление к Словарю Академии, содержащее около 11 000 новых слов, значений и технических терминов, введенных наукой и жизнью в обиходный язык с 1794 г. и отсутствующих в Словаре Академии". Однако, грамматики заблуждались,—громадное большинство этих новых слов существовало в обиходной речи еще до 1794 г.

Возмутились также и пуристы, потребовавшие учреждения „Сената для охранения языка".

Аббат Мореле „старейший из престарелых детей, который и к восьмидесяти годам не выполнил того, чего ждали от него в шестьдесят“, возражая против нивелирующих теорий издателей, говорил, что „Словарь Французской академии должен быть хранилищем обиходной речи, но только той, которую употребляют граждане, выдающиеся знатностью, богатством и образованием“. И, пылая благородным гневом, он продолжает: „Они вводят в этот Словарь (Добавление из 336 новых слов) такие выражения, как *enragé* (бешеный), *motionner* (возбуждать прения), *révolutionner* (взбунтовать), *sans-culotte* (санкюлот), *sans-culottide* (санкюлотид) — выражения варварские, низменные, жизнь которых эфемерно коротка. Представляя собой особый вид революционного жаргона или выражая безумства и злодеяния революционного правления, они не должны осквернять Словарь французского языка. Из числа этих ужасных выражений, продолжает он, горячась, я назову такие слова, как *fournée* (буквально — полная печь), существительное женского рода, обозначающее телегу, наполненную людьми, приговоренными к гильотинированию, как *guillotine* (гильотина), *lanternier* (повесить на фонаре), *mitraille* (расстрел картечью), *poiyade* (утопление), *septembriseur* (сентябрист, участник сентябрьского террора), *septembrisade* (террор в сентябре 1892 г.). Все эти слова, введенные в революционный язык жестокостью и низостью, должны быть изгнаны из речи порядочных людей, их нужно стереть навсегда со страниц Словаря, как стерли кровавые пятна в дворцовых покоех. Возможно ли, чтобы введение в Словарь этих чудовищных слов могло притти

в голову людям образованным, что я говорю, членам великой литературной корпорации -- Французского Национального Института?"¹

Еще больше, чем Мореле, негодовал Габриэль Фейдель. Он обрушился с проклятиями не только на Дополнение к Словарю, но даже и на работу предшествующей Академии. Словарь, по его мнению, был наполнен словами „из жаргона игорных притонов, воровских вертепов и кабаков, в духе любовников Генриха III,.. гнусными статейками, составленными горничной жены академика или его экономкой,.. выражениями скотниц и маркитанток, не имеющими ничего общего с традициями французской благовоспитанности и достойными разве что девиц Горжибюс, такими выражениями, которые можно услышать лишь в передней из уст прислуги,.. крепкими словцами, приличествующими портнице или парикмахеру, которым клиентка забыла дать на чай,.. жаргоном зеленщицы, пытающейся блеснуть умом, речью горничных, проституток и прачек, оскорбляющей достоинство нации,.. фразами, терпимыми только в устах чернорабочего, свинопаса, цирюльника, самого худшего пройдохи, достойными торговли салатом, и которым лучше всего было бы заглохнуть, не выходя из воровских и разбойничьих вертепов“.² Но оборвем

¹ A. Morellet, Du projet de l'Institut National de continuer le Dictionnaire de l'Académie Française, an IX (1801) (А. Мореле. О проекте Национального Института продолжить Словарь французской академии).

² G. Feydel, Remarques morales, philosophiques et drammatiques sur le Dictionnaire de l'Académie Française, 1807 (Г. Фейдель, Моральные, философские и грамматические заметки к Словарю французской академии, 1807 г.).

цитату, которая была необходима для того, чтобы дать читателю возможность оценить воззрения пуристов на французский язык, из которого они хотели изгнать не только язык игроков, но и язык тех, кто зарабатывал хлеб трудом цирюльника, зеленщицы, прачки, портнихи и т. д.

Пуристы приходили в отчаяние: легионы варварских, низких, вульгарных слов осаждали крепость, в которой обосновался утонченный язык высшего общества, они проникали в нее и разрушали создание двухсотлетней аристократической культуры. Язык был так же переплавлен в огне Революции, как государство, общество, собственность и нравы. Историки языка едва упоминают об этом лингвистическом обновлении, которое так сильно занимало филологов в первые годы нашего [XIX] столетия. Недооценивая значительность этой неожиданной революции, они повторяют ту же ошибку, которую сделали академики в 1835 г., высказавшие мнение, что французский язык „остался таким же, т. е. столь же удобопонятным“ и одновременно отметившие, что „до первых лет эпохи Людовика XIV он нигде не был зафиксирован; из века в век одни и те же вещи писались каждый раз на новом французском языке, который вскоре, в свою очередь, становился устаревшим. При списывании, манускрипт, написанный на нашем же языке, часто наполовину переводился. Долгое время подлинником Жуанвиля считали последний из посмертных списков, так как он вскоре настолько устарел, что легко сходил за оригинал“.¹

¹ Dictionnaire de l'Académie Française, 6-e édition, 1835, Préface (Словарь французской академии, Предисловие к 6-му изданию 1835 г.).

Тот же процесс совершился и в эпоху Революции; новые слова и выражения, наводившие язык, были так многочисленны, что для того, чтобы сделать газеты и брошюры того времени понятными для придворных Людовика XIV, их пришлось бы переводить.

Но после Революции началось реакционное движение: изящный язык попытался восстановить свое влияние на правящие классы и изгнать из недр своих новые словообразования, которые насильно вторглись в него. Поразмыслив, даже наиболее смелые писатели стали опасаться „мужественных выражений *республиканского языка*, который был им свойствен в течение четырех или пяти лет и в котором заключалось нечто такое, от чего монархический язык мог поблекнуть навсегда“.¹ Сам Мерсье объявил, что он „изъял из своего словаря, за немногими исключениями, все слова, имеющие отношение к Революции. По большей части эти выражения сильны и грубы; они соответствуют ужасным представлениям. Причудливые и жуткие, они родились в круговороте событий. Когда бушует ветер и буря сокрушает корабль, матросы, делая спасающие их маневры, изрыгают проклятия“. Вопреки пуристам, Революция сделала свое дело в области языка; блестящий стальной обруч, сковывавший его, был разбит, и язык отвоевал себе свободу.

Но чтобы иметь возможность судить об этом обновлении французского языка, необходимо прежде уяснить себе то представление о языке,

¹ S. Mercier, Dictionnaire néologique, 1801, Préface (С. Мерсье, Неологический Словарь, Предисловие).

которое существовало у ученых XVII и XVIII вв. Итак, сначала я изложу читателю мнения писателей той эпохи.

*

Дворяне, обитавшие в средние века в своих замках, среди вассалов и крепостных привлекаются политикой монархии в Париж; они собираются вокруг короля, составляя его двор. Они теряют свою старую независимость, рвут нити, связывающие их с другими классами, и образуют обособленную касту, которая вскоре становится совершенно чуждой всему народу и замыкается в Версале — столице аристократии. Далекое от жизни буржуазии, тем более от жизни простого народа, дворянство создало свои особые обычаи, привычки, нравы и воззрения, которые так же отличались от обычаев большинства населения, как привилегия аристократии — от обязанностей и прав буржуазии и ремесленников; вполне естественно, что оно стало отличаться от других граждан и одеждой, и манерами и речью. Язык дворян, так же как и вежливость их обращения, церемонный этикет и даже манера есть и держаться за столом, точно стеной отгородил их от других классов.¹

Искусственная речь, отличавшая аристократию, не была всецело ее созданием, она не

¹ М-м де Сталь замечает, что „вежливость вместо того, чтобы объединить людей, разделяет их на классы“. Нужны были долгая выдержка и постоянный контроль над своими движениями, словами, мыслями и чувствами, чтобы приобрести то совершенное изящество, которого достигла знать и которое отделило ее от других классов. Оно не было превзойдено ни одним из светских обществ других государств.

была создана сразу как, например, интернациональный язык, изобретенный Лейбницем еще до „волапюкистов“; она выделилась из языка общенародного, на котором говорили и буржуа, и ремесленники, город и деревня. Такой же процесс раздвоения произошел когда-то в латинском языке, который во время второй Пунической войны раскололся на язык аристократический — *sermo nobilis*, и язык плебейский — *sermo plebeius*.

Обычай и нравы высшего общества XVII в. должны были значительно ограничить количество слов в искусственном языке, названном Мерсье *монархическим*, но который вернее было бы назвать *аристократическим*. Не владея никаким ремеслом и зная только военное дело, дворяне не имели ни малейшего желания узнать выражения, свойственные какой-нибудь работе. Поэтому в первых изданиях Словаря Академии возрастало количество терминов, относящихся к геральдике и почти совершенно отсутствовали термины технические, употребляемые ремесленниками. Это опущение было одной из главных причин выступлений Фюретьера против Академии.

Я предоставляю людям более сведущим проследить, как путем постоянного отбора и шлифовки был создан язык высшего общества. И я настаиваю на том утверждении, важность которого не может быть преувеличена, что только обтачиванием языка народного был создан язык писателей эпохи Людовика XIV, „получивший такое широкое распространение в XVIII в. и разделивший с латынью славу языка, который по молчаливому соглашению

изучают все народы, чтобы иметь возможность понимать друг друга".¹

Эта великая честь досталась аристократическому языку только потому, что в Европе Франция была единственной большой страной, где дворянство, сосредоточившись вокруг своего феодального повелителя, создало обширный двор и достигло галантности и изящества, которыми восхищалась и которым подражала аристократия остальных европейских государств. Романы д'Урфэ, которые можно считать кодексом аристократического быта, читались даже в глуши Норвегии.

Дворяне, больше воины, чем ученые, не имели „глупой заносчивости и высокомерия некоторых ученых мужей, полагающих, что наш простонародный язык не приспособлен для изящной литературы и для науки".² Они, не задумываясь, заимствовали из него те слова, выражения и обороты, которые им нужны были для ежедневного обихода, но предварительно отсеивали их и пропускали в незначительном количестве: только подвергшись тщательной оценке, переоценке, отделке и заслужив одобрение, они допускались в высшее общество и в поощряемую им литературу. Писателей того времени, в особенности тех, которые искали покровительства высшего света и были по резкому, но верному замечанию одного критика только „приятными развлекаемыми

¹ Encyclopédie de Diderot, article Langue française (Энциклопедия Дидро, статья Французский язык).

² Joachim du Bellel, La défense et illustration de la langue française, 1549; Livre I, Ch. I. Edition de Becq de Fouquières (Иоахим дю Беллей, Защита и прославление французского языка, 1549 г., кн. I, гл. I).

общества“, это общество обязывало отказаться от сильного, но грубого языка д'Обинье и Монлюка. Язык этот демонстративно не понимали и пренебрегали им ради новой изысканной речи.

Дворяне, оторванные от своих замков и собранные в Париже, приложили все усилия, чтоб отделаться от своих провинциальных замашек и приобрести светские манеры. Обтачивание сочного, могучего и хаотического языка, унаследованного от XV в., шло, следовательно, параллельно со смягчением грубых нравов феодальных баронов и с утончением их вкусов. Эта шлифовка феодального быта и языка происходила в начале XVII в. в целом ряде ассамблей, салонов, будуаров (*réduits et ruelles*), расположившихся от Сен-Жерменского предместья до отдаленнейших концов Марэ; они старательно перечислены в „Словаре светских женщин“ Сомэза (*Grand Dictionnaire des Précieuses*). Все эти салоны старались подражать тону отеля Рамбулье — центра новой реформы.

Когда же дворянство нашло в своих рядах тех педагогов, в которых нуждалось, когда оно дало ряд крупных писателей (М-м де Севинье, Лафайетт, Ла Рошфуко), оно еще присоединило к ним, что было уже излишним, целую толпу буквоедов и придирчивых педантов. Вожелà, Бальзак, Вуатюр, которых Буало в своем „*Art poétique*“ ставит наравне с Расином и Мольером, Годо, Коэфто, Шапелен, этот неудачливый родитель „Девственницы“, отец Бугур, который обеднял язык, считая, что обогащает его, и ряд других, которых постигло еще большее забвение, — все они

были членами недавно открытой Академии и усиленно подчеркивали свое намерение „разгасконить“ язык, иначе говоря, лишить его провинциальной свежести. Если бы Вольтер жил в то время, он, наверное, вступил бы в это общество ученых жеманников, так как он считал, что „для Корнеля было несчастием то, что он воспитывался в провинции, вследствие чего у него очень часты погрешности в языке“¹.

Но были все же писатели, не поддавшиеся очистительному влиянию отеля Рамбулье и его приверженцев, салонов и Академии, за что их клеймили прозвищами либертенгов (вольнодумцев, беспутников), грязных писак, краснорожих поэтов. Обладая пламенным темпераментом, мятежным духом и большой философической смелостью, они продолжали пользоваться неочищенным языком и писать ходовым буржуазным слогом. Писали они для смешанного общества, состоявшего из образованных буржуа и группы независимых дворян, не подчиняющихся установленным правилам.

История издания Словаря Академии дает нам возможность проследить эволюцию аристократического языка. Первые академики называвшие себя с наивным энтузиазмом „трудженниками слова, работающими для прославления Франции“ (преемники их в царствование Людовика XIV стремились только „обессмертить каждое слово и даже каждый слог, посвященные прославлению их высокого покровителя“), оказались в большом затруднении, когда надо было составить словарный индекс

¹ Voltaire, Dictionnaire philosophique, article Langue (Вольтер, Философский словарь, статья Язык.)

языка. Прежде всего их остановила система классификации слов. В первом издании Словаря Академии они сгруппированы по семействам. Эта, заброшенная с тех пор, система классификации была вновь применена д-ром Фрейндом в его полном словаре латинского языка (*Gesamtwörterbuch der Lateinischen Sprache*) и к ней следовало бы снова вернуться, когда понадобится составить методический филологический словарь французского языка.

Академикам пришлось преодолеть и другое, не менее серьезное затруднение: надо было отобрать слова, достойные занять место в Словаре. После долгих споров они решили допустить только выражения освященные тем, что их употребляли известные писатели, а к этим последним они причисляли самих академиков; между тем, двое из них, умершие в то время, никому не были известны. В списке писателей, избранных для использования их словарного материала, состояли: Амио, Монтень, Депорт, Шаррон, королева Маргарита, Ронсар, Маро и др. Но вскоре академики заметили, что писатели эти, несмотря на исключительное богатство своего языка, не употребляли огромного количества слов и выражений, которые были необходимы в повседневном обиходе; тогда они принуждены были вернуться к обиходному языку и составить уже не словник знаменитых писателей, которые „становятся нам чужды через несколько лет“, как говорит Пелиссон, а словарь всего языка. Это первое издание было скорее черновым наброском, чем настоящим словарем.

Когда в 1717 г. нужно было подготовить второе издание академики наткнулись на

Новое затруднение: знать, так же как и просто-народье, создавала свой особый жаргон — такие выражения, как например: *sabler le vin* (выпить вино залпом), *battant d'oeil* (утренний чепчик, спускающийся на глаза), *falbala* (пышная оборка на плати), *fichu* (шейная косынка), *ratafia* (фруктовая настойка); следовало ли допускать их в словарь? После долгих колебаний они решили, что „поскольку слово вошло в язык, оно приобрело право на место в словаре; часто легче обойтись без самого предмета, чем без слова, придуманного для его обозначения, каким бы странным оно ни казалось“. ¹ У Вольтера, аристократа до кончика пера, не было подобных сомнений: „Благородство языка нарушают не неправильности речи высшего общества“, утверждает он, „а страсть посредственных писателей говорить о значительных вещах обыкновенным разговорным языком“. ² В предисловии к изданию 1717 г. академики изложили правило, которым должен был руководствоваться всякий лексикограф. „Нам кажется“, говорят они, „что между словами одного языка, так же как между гражданами одной республики, существует своего рода равенство... Как полководец или судья не более гражданин, чем простой солдат или мелкий ремесленник, несмотря на разницу их положений, так и слова, выражающие *справедливость* и *доблесть*, хотя они и соответствуют понятиям высшей добродетели,

¹ Préface de la deuxième édition du Dictionnaire Académique (Предисловие ко 2-му изданию Академического Словаря).

² Voltaire, Dictionnaire philosophique, article Langue (Вольтер, Философский словарь, статья Язык).

не выше и не более в духе французского языка, чем те слова, которые обозначают вещи самые низкие и презренные“. Без сомнения, сто лет спустя, в 1817 г. — т.-е. через 28 лет после Революции, — эти академики не выступили бы с подобным заявлением; но чтобы не очернить память Академии обвинением в демагогических теориях в области лингвистики, необходимо добавить, что она предполагала допустить в Словарь вовсе не простонародные выражения, а лишь „прихотливые словообразования“ людей из высшего общества, хотя они и отзывались нередко кабаком и публичным домом. Дворяне эпохи Ришелье и Мазарини, еще не вполне приспособившиеся к великосветскому образу жизни, искали непринужденного общества „либертенов“ и „краснорожих поэтов“, чтобы отдохнуть с ними от утомительной принужденности и скуки этикета и сбросить с себя в кабачке маску официальной чопорности. Но в то время, как Словарь принимал сомнительные выражения дворян, Лафонтен, прилежно посещавший заседания Академии, не мог добиться включения в него слов хорошо известных, которые встречаются у Маро и Раблэ.

Предисловие к 3-му изданию 1740 г. свидетельствует о том, что положение сильно изменилось: благородный язык в опасности, его надо охранять. Академия уже не думает сравнивать слова с равноправными гражданами Республики; напротив, она заявляет, что „всегда считала должным ограничить содержание Словаря обиходным языком, на котором говорит высший свет и которым пользуются наши ораторы и поэты...“ Она откровенно излагает

аристократический взгляд на язык, по которому французским языком является не речь буржуа и ремесленников, а только речь высшего общества и писателей, которым оно покровительствует. Академия, воображавшая, что „она может распоряжаться языком так же, как цирюльник бородой“ (Фюретьер), приближалась к идеалу Боссюэ, мечтавшего о „постоянном верховном совете, который опираясь на доверие и одобрение всего общества, изгонял бы нелепые словообразования и сглаживал бы неправильности языка“. Поэтому и предисловие к 3-му изданию объявляло, что „так как люди благовоспитанные избегают выражений, подсказанных гневом и оскорбляющих стыдливость, то такие слова исключены из Словаря“. И неудовлетворившись этим остракизмом, академики впервые установили те слова, которыми должен пользоваться стиль высокий, поэтический, и те, которые предназначаются для низкого стиля. В XVIII в. считали, что язык надлежит запечатлеть, так как он достиг своего совершенства, Академия же была собранием жрецов, долженствующих охранять его культ.

Франция единственная страна, в которой удалось учредить тираническую цензуру Академии, но потребность в этом была и в других странах. Так, один ирландский писатель, смелость мысли и языка которого взволновали бы Боссюэ больше чем появление дьявола, — Джонатан Свифт, — высказал очень странную в его устах мысль об учреждении академии, которая охраняла бы и фиксировала английский язык, многие выражения из него отбросила, другие исправила, а третьи восстановила.

„Надо, чтобы ни одно слово, получившее санкцию этого общества, не могло впоследствии устареть и исчезнуть“.¹ Друг Вольтера Фридрих Великий, составил немецкую грамматику, для того, чтобы построить слова родного языка так же, как своих прекрасно вымуштрованных солдат и придать им такую же выправку .

В результате упорного и непрерывного труда грамматикам отеля Рамбулье и Академии удалось из речи народной, „хотя и родившейся самопроизвольно, подобно травам, цветам и деревьям, но так хорошо приспособленной нести бремя человеческих суждений“,²— выделить другой язык, исправленный, очищенный от простонародных оборотов, наивных выражений и „низких“ слов. Их долгие и скучные споры о словах и даже о частицах слов можно было бы высмеять, как ребяческие и пустые; а между тем споры эти были внушены серьезным и вполне сознательным увлечением, воодушевлявшим этих создателей аристократического языка. Избавленный от индивидуального произвола и фантазии и подчиненный многочисленным и строгим грамматическим правилам, окончательно утвердившись, язык этот распространялся книгой и в таком же виде вдалбливался при школьном обучении. Несмотря на всю искусственность, он стал как бы родным языком господствующего класса — аристократии. Он так глубоко проник в жизнь версальских придворных, что им казалось столь же невозможным говорить на простонародном

¹ Jonathan Swift, A proposal for correcting, improving and ascertaining the English tongue in a Letter to the Lord high Treasurer.

² Дю Беллей.

языке, как одеваться в темные и грубые платья ремесленников и буржуа, которых они видели из окна кареты, скача во весь опор по улицам Парижа к Версальскому дворцу.

В XVIII в. социально-политический центр перемещается из Версаля снова в Париж; простонародный язык, существование которого дворяне быть может замечали, но с которым они не хотели считаться, получил возможность утвердиться: его слова и выражения вторгаются в благородную речь вместе с финансистами и богатыми буржуа, проникающими в салоны и семьи аристократов, которым они золотили поблекшие гербы. Дворяне беспечно улыбались, глядя на вторжение этого языка и на погути этих выскочек подражать изысканным манерам. Их слепая вера в непреложность своих прав и привилегий была так сильна, что они считали свое социальное главенство непоколебимым; таким же непоколебимым они считали и дело, начатое в отеле Рамбулье и доведенное до высшего совершенства писателями эпохи Людовика XIV.

Но писатели, провозгласившие себя охранителями языка великой эпохи, смотрели на это иначе; их боязнь, что язык осквернится от соприкосновения с вульгарной речью, их жалобы, злорадия и нападки на простые и тривиальные выражения оставляют далеко за собой всеми осмеянные чудачества précieuses. Последователи изысканного стиля XVII в., к которым надо причислить и писателей Пуррояля и их противников — иезуитов, ставивших им в упрек „однообразную тяжеловесность языка и устаревшие выражения“, были в своем роде творцами речи — их точный, чистый

и отшлифованный язык занимает почетное место в истории французской литературы. Писатели же XVIII в. были только сиделками при умирающем, жизнь которого они старались продлить академическими постановлениями.

Было бы понятно, если б на защиту языка эпохи Людовика XIV поднялись дворяне, — это был их родной язык, на котором они лепетали свои первые слова, привыкли думать, думали и посредством которого выражали свои чувства. Но они об этом не заботились: больше того в революционный период аристократы первые своими газетами и брошюрами ввели в моду „рыночный“ стиль. Напротив, те писатели, которые были начинены грамматическими правилами и требованиями высокого стиля и которые подобно огнедышащим драконам охраняли „царя языков“, узнали его не из уст матери, но из книг, в школах, под указкой учителя. В Академии, где было больше дворян, чем литераторов, последние подчинялись руководству первых в языке высшего общества; но дома, в ежедневном обиходе, они говорили на простонародном языке, писали на нем свои частные письма, пользуясь аристократическим языком лишь в элегиях, трагедиях и других произведениях „in octavo“. Так же, как педанты, о которых говорит дю Беллей, „они считали, что хорошо писать можно только на языке необычном, непонятном простому народу“.¹

Дидро говорил: „Я не сомневаюсь в том, что у нас будет скоро как у китайцев: один язык разговорный, а другой — письменный“.

¹ „... ils ne pensaient rien écrire de bon, sie ce n'était en langue estrangère, et non entendu du vulgaire“.

Это раздвоение было так значительно, что писатели должны были постоянно заботиться о том, чтобы не допустить по оплошности простонародное выражение. Дабы в их язык не вкралось ни малейшей ошибки, даже такие испытанные мастера, как Вольтер, писали, имея всегда под рукой словарь и грамматику.

Предисловие к Словарю Академии 1835 г., воздавая должное Вольтеру, напоминает, что „он был изумительным и чутким стражем языка“. Вот этого-то умного и пылкого мятежника надо изучить, чтобы понять причуды grésieux XVIII в.

„Действительно, можно подумать, восклицает Мерсье, что во Франции начали писать только с тех пор как Расин и Буало взяли за перо, что до них ни у кого не было ни правильных суждений, ни остроумия, ни слога... Ну что ж, умники, оставайтесь невеждами и любуйтесь вашей блестящей и пустой речью, составленной из французских стихов и ученической прозы“. Можно было бы предположить, что это только насмешливый выпад дерзкого и неуравновешенного ума, но нет — Мерсье не преувеличил мнений grésieux, он в точности воспроизвел воззрения пуристов. Посмотрим, что говорит Вольтер, который всегда считался противником всякого педантизма: „Язык XVI в. не был ни благородным, ни правильным. Искусство вести беседу обратилось в умение шутить, и, обогащаясь выражениями шутливыми и забавными, язык располагал весьма скудным запасом выражений благородных и благозвучных... Это было причиной неудачи серьезного стиля Маро и неумения Амио передать изящество Плутарха без наив-

ного упрощения. Французский язык приобрел силу под пером Монтэня, но не достиг еще благородства и гармоничности. Он стал возвышенным и благозвучным только после учреждения Французской Академии.¹ В другом месте он утверждает, что „с тех пор, как французы начали писать, они не создали ни одной книжки в хорошем стиле, до 1656 г., когда появились „Провинциальные письма“ (Паскаля).² Виктор Гюго в 1829 г. оказался еще более нетерпимым. „Буало и Расину принадлежит честь основания французского языка“, говорит он в предисловии к „Новым Одам“.

Но в то время как Вольтер и грёсиеux находили старый язык обветшалым, варварским и неблагозвучным, писатели эпохи Людовика XIV не могли утешиться, утратив его.

„Мне кажется“, писал Фенелон в „Письме о красноречии“, посланном в Академию, „что стараясь очистить язык, его стеснили и обкарнали... Приходится пожалеть об утрате того старого языка, который мы находим у Маро и Амио и кардинала д'Осса: в нем была какая-то своеобразная сжатость, простота, смелость и выразительность“. Даже Расин жаловался, что, посредством нового языка он не может достичь той легкости, которую находит у Амио“ (Предисловие к „Митридату“). Дидро, стоявший особняком, нападал на „ложное благородство языка, которое заставило нас изгнать из нашей речи так много сильных и смелых выражений. Упорной шлифовкой

¹ Encyclopédie, article Français (Энциклопедия, статья Французский язык).

² Dictionnaire philosophique, article Style (Философский словарь, статья Стиль).

мы обеднили наш язык; часто имея всего лишь один термин для обозначения какого-нибудь понятия, мы предпочитаем обесцветить это понятие, чем определить его словом „неблагородным“. Какая огромная потеря, все эти утраченные слова, которые мы с такой радостью встречаем у Амио и Монтеня. Сначала они были выброшены из высокого стиля из-за того, что ими пользовался простой народ, затем они были заброшены и народом, который всегда подражает великим мира сего, и вскоре стали совсем неупотребительны“. Вольтер возражал ему: „многие считают, что французский язык обеднел со времени Амио; действительно, у писателей того времени встречаются выражения теперь не принятые; но по большей части это выражения простонародные, которые были заменены равнозначшими, зато язык обогатился словами благородными и энергичными“.

Расин, до того как стал мишенью для нападок романтиков, был пугалом отеля Рамбулье: его упрекали в том, что язык его недостаточно чист, что он употребляет „простонародные и мещанские выражения, пользуется низкими и вульгарными словами“.

Спустя сто лет Вольтер повторяет эти обвинения от своего имени. Чтобы показать насколько его критика была мелочна и придирчива ниже приводятся стихи Расина, которые Вольтер находил грубыми и мещанскими:

... de si belles mains
Qui semblent vous demander l'empire des humains.
„*Bérénice*“, acte II, scène II.

... Столь прекрасные руки
Словно требуют у вас владычества над людьми.
„*Береника*“, акт II, сцена II.

... Crois-tu, sie je l'épouse
Qu'Andromaque en son cœur n'en sera point jalouse?
„*Andromaque*“, acte II, scène V.

... Ты думаешь, если я женюсь на ней,
Андромаха не будет ревновать? ¹

„*Андромаха*“, акт II, сцена V.

Tu vois que c'en est fait, ils se vont épouser,
„*Bajazet*“, acte III, scène III.

Ты видишь, все кончено — они поженятся. ²
„*Баязет*“ акт III, сцена III.

Однако, если даже признать стихи из Андромахи и Баязета посредственными, то стих о руках Береники, которые требуют власти, полон изысканности.

Этот пуризм в своем неистовстве дошел до того, что автор Кандида решился назвать „подлым, низким и недостойным Паскаля“ простое и образное изложение таких великих мыслей:

„126. Пример воздержанности Александра не сделал столько людей целомудренными, сколько пример его пьянства создал людей распушенных. Никто не постыдится быть менее порочным чем он“. ³

„104. Это восхитительно! Хотят, чтобы я не оказывал почтения человеку, разодетому в парчу и которого сопровождают семь-восемь лакеев. Да что вы! Он прикажет отстегать меня плетью, если я ему не поклонюсь.

¹ „Коль брак свершу, коль часть счастлива,
То Андромаха, мнишь, не будет ли ревнива“.

Стихотворный перевод Х в о с т о в а.

² „Ты зришь, все кончено: он женится на ней“.

Стихотворный перевод О л и н а.

³ 126. L'exemple de la chasteté d'Alexandre n'a pas fait tant de continents, que celui de son ivrognerie a fait d'intempérants. On n'a pas de honte de n'être pas aussi vicieux que lui.

В платье — его сила. Лошадь в богатой упряжи никогда не будет вести себя по отношению к себе подобным так, как он“.¹

М-м де Сталь думает, повидимому, что можно обновить литературу, не касаясь языка. Вольтер же считает их так тесно связанными, что всякое изменение в одном из них должно неизбежно повлечь за собой соответственное изменение в другом. Провозгласив себя ревностным охранителем языка, он яростно напал на литературных новаторов, которые оправдывали свои опыты, ссылаясь на Шекспира. Кампания, поднятая им против величайшего драматического гения, равных которому человечество не дало со времен Эсхила, заслуживает того, чтобы стать общеизвестной. Она показывает состояние умов того времени, и ее можно рассматривать как одну из первых стычек в той войне, которая впоследствии разгорелась между классиками и романтиками из-за произведений Расина и Шекспира.

Когда в 1776 г. секретарь Королевского издательства объявил об издании первого французского перевода Шекспира, Фернейский патриарх, знавший это „чудовище“ не по наслышке, как его романтические поклонники, а читавший и даже обкрадывавший его, забеспокоился за судьбу французской трагедии и языка. Писатели, которые до этого времени беспечно нарушали установленные правила, были мелки и ничтожны; но этот варвар был

¹ 104. Cela est admirable; on ne veut pas que j'honore un homme vêtu de brocatelle et suivi de sept à huit laquais. Eh quoi! il me fera donner des étrivières, si je ne le salue. Cet habit, c'est une force: il n'en est pas de même d'un cheval bien enharnaché à l'égard d'un autre.

достаточно силен, чтобы нанести опасный удар. Его надо было во что бы то ни стало изгнать из французской литературы, подобно тому как слова Монтэня, Де-Ля-Ну (*De la Noue*) и Раблэ были изгнаны из языка. Вольтер крайне обеспокоен и из Швейцарии пишет в Академию письмо против „Жиля“ Шекспира и „Пьеро“ Летузнера (его переводчика). Он думал задеть их, высмеивая их имена. Письмо Вольтера было событием. 25 августа было назначено публичное прочтение этого письма. Вольтер старался придать этому чтению как можно больше торжественности и пригласил на него своих друзей, „как истинных французов и поощрителей хорошего вкуса“. ¹ Он поручил д'Аламберу „убедить королеву и принцесс стать на нашу сторону... Королева любит трагедийный театр, она сумеет отличить хороший вкус от дурного, как если бы „она была вскормлена медом и маслом“ („Исаия“, VII, 15), она будет опорой хорошему вкусу. Чтение знаменитого письма было возложено на д'Аламбера. Вольтер забрасывает его советами, как читать скабрзные места Шекспира и как смягчать их, если они будут слишком шокировать слушателей. „Самое забавное будет заключаться в противопоставлении очаровательных отрывков из Корнеля и Расина с непристойными словами (b, f — Вольтер приводит их полностью) и кабацкими выражениями, которые божественный Шекспир постоянно вкладывает в уста своих героев и

¹ Lettre à M-r de Vaine 10 Août 1776, vol L. — Correspondance, éd. Garnier (Письмо господину де Вэн от 10 августа 1776 г. Переписка, том L, изд. Гарнье).

героинь. В Лувре нельзя произнести того, что Шекспир с такой легкостью произносил перед королевой Елизаветой".¹ Мы видим, что в частной переписке Вольтер не стеснялся в выражениях; да и в своих романах и рассказах он позволял себе большие вольности в обращении с благородным языком и хорошим вкусом. Д'Аламбер отвечал ему: „Один из двух, Шекспир или Расин, должен пасть на поле брани. К несчастью, среди писателей есть много отступников и ложных друзей; но отступники будут схвачены и повешены. Досадно только, что племя этих висельников ни на что не годно, слишком сухи они и тощи".² Действительно, писатели, протестовавшие перед Революцией против трагедии и Словаря Академии, были неудачниками, которым не улыбались счастье и слава.

В своем письме Академии Вольтер не преминул обвинить Шекспира за речь пьяного привратника о возбуждающих и ослабляющих чувственность и мочегонных действиях напитков; в самом деле, в этом отрывке было чем оскорбить целомудренные уши общества того века. Расин в своем шедевре „Сутяги“ (*Les plaideurs*) осмелился допустить одно из словечек этого привратника из „Макбета“; но тут этот грех был простителен, так как речь шла лишь о щенках. Только возвращаясь к Скаррону и Раблэ, можно найти, подобную свободу языка, на которую не отваживались даже современ-

¹ *Correspondance de Voltaire, Lettre du 13 auguste vol. L., éd. Garnier* (Переписка Вольтера, письмо от 13 августа, т. L, изд. Гарнье).

² *Correspondance de Voltaire, Lettre d'Alambert du 20 auguste, vol. L* (Переписка Вольтера, письмо д'Аламбера от 20 августа, т. L).

ные натуралисты. Поэтому можно простить Вольтеру, когда он закрывает лицо свое, и не одуя, взывает о помощи. Здесь, как и во многих других забавных местах Шекспир воистину преступает то, что может вынести аристократический и буржуазный вкус.

Но Вольтер возмущался не только словами пьяницы, но и таким ответом часового: „я не слышал даже мышиного топота“ („Гамлет“, акт I, сцена I). „Да, сударь! — продолжает верховный судья литературы, обращаясь к несчастному „Пьеро“ Летуэрну, — так может выразиться солдат в своей казарме, но не на сцене перед избранными особами нации, которые говорят благородным языком и присутствие которых требует того же“. То что солдат называет мышью мышью — еще куда ни шло, но совершенно невыносимо, что бы Генрих V Английский говорил с Екатериной, дочерью Карла VI, короля французского, следующим образом: „Если ты захочешь, Катюша, чтобы я писал тебе стихи или танцевал, — я погибну, потому что для сложения стихов я не найду ни слов, ни размера, а танцевать ритмично я не в силах...“, или чтобы Гамлет, при мысли о свадьбе своей матери через месяц после смерти его отца восклицал: „Ничтожество, вот истинное имя женщины. Как, не переждав даже одного месяца! Ведь она еще не износила башмаков, в которых шла за гробом моего отца. О небо! неразумный зверь, и тот грустил бы дольше („Гамлет“, акт I, сц. II). Заставить королей и королев говорить языком простых смертных, это значило превзойти то, что отец „Девственницы“ мог потерпеть на сцене. М-м Дю Дефан после одной из трагедий

Вольтера сказала: „Он упражняется во всех жанрах, даже в скучном“. Письмо к Академии превосходит все остальное: он, этот маститый писатель, доходит до смешного в следующем обращении: „Судите же теперь, придворные всей Европы, академики всех стран, образованные люди, все, кто обладает хорошим вкусом. Я осмеливаюсь на большее, я призываю в судьи Королеву Французскую и принцесс, — как дочери героев, они должны знать, как герои выражаются“. ¹ Дочери Людовика XV знали, как говорил их отец со своими любовницами. Автор Генриады забыл, что ле Беарне, живший в одно время с персонажами, выведенными Шекспиром на сцену, вел такие же и даже более непристойные речи, которые возмутили бы принцесс еще сильнее.

Но не только язык трагедии беспокоил Вольтера; он хотел охранить от вторжения грубых слов и простонародных выражений не только этот язык, но и язык науки, газет и даже разговорный. В полном отчаянии он говорит: „В новых книгах по философии вы можете прочесть, что не надо *faire en pure perle les frais de penser* (без всякой выгоды вдаваться в размышления), что *les éclipses sont en droit d'effrayer le peuple* (затмения вправе пугать народ), что внешность Эпикура была *à l'unisson de son âme* (созвучна с его душой) и тысячи подобных выражений, достойных слуги из „Жеманниц“. В газетах вы прочтете: „On a appris que la flotte aurait mis

¹ Lettre de M-r de Voltaire à l'Académie française, lue le 25 août 1776. Ed. Garnier, vol. XIX, *Mélanges* (Письмо Вольтера Французской Академии, читанное 25 авг. 1776 г. Изд. Гарнье, т. XIX, Смесь).

à la voile le 7 mars et qu'elle aurait doublé des Sorlingues (Мы узнали, что 7 марта флот развернул паруса и обогнул Сорлингские острова). Все словно сговорились разрушить столь распространенный язык... Торговцы вводят в разговорную речь выражения, принесенные из-за прилавков, и говорят, что Англия „вооружает флот, в противоположность чему Франция снаряжает свои корабли (arme une flotte, mais que par contre la France équipe ses vaisseaux).¹ В этой последней жалобе дан образец языка, который précieux XVIII в. запрещали: они изгоняли все слова и выражения, рожденные в лавке или в мастерской.

Бедный Вольтер! Его опасения не были преувеличены; народный язык, который писателям великой эпохи, пользовавшимся исключительно языком искусственно созданным в отеле Рамбулье, удалось лишь оттеснить на второй план, снова прорвался наружу. Он жалуется, что снова начали писать „трагедии стилем Аллоброгов, . . . солецизмы, варваризмы, смешной и напыщенный слог с некоторых пор не ощущаются нами, потому что тайные чары народного языка и глупое увлечение им создают своего рода опьянение, которое приводит к невменяемости“. Он предсказывал, что в ближайшем будущем хороший вкус и язык погибнут из-за этих грубых, варварских произведений. Такие несчастья приходят обычно после эпохи расцвета. Художники, боясь быть подражателями, ищут окольных путей и удаляются от той подлинной естественности, которой обладали их предшественники; а падкая

¹ Voltaire, Dictionnaire philosophique, article Langue (Вольтер, Философский словарь, статья Язык).

на новизну публика, бежит за ними... Вкус утрачивается, со всех сторон появляются новшества, которые быстро сменяют друг друга. Хороший вкус — это сокровище, которое несколько высоких умов сохраняют вдалеке от толпы“.¹

Целая фаланга писателей поддерживала Вольтера против литературных „варваров и вандалов“, разрушавших создание двухсотлетней аристократической культуры; однако, даже и в их собственном лагере находились еретики, восставшие против догматов святейшей Академии; они ставили ей в вину бедность языка больше того, сам Вольтер в молодые годы называл этот язык „Гордой нищенкой, которой приходится подавать милостыню насильно“. Особенно же жаловались ученые на то сопротивление, которое им приходилось преодолевать, чтобы ввести в язык новые научные термины, так как новые знания требовали новых

¹ Voltaire, Dictionnaire philosophique, article Goût (Вольтер, Философский словарь, статья Вкус). Г. Буланже (G. Boulanger), знаменитый художник, издал по случаю выставки 1885 г. брошюру, озаглавленную „Нашим ученикам“ (A nos élèves), в которой он оплакивает отход от великого искусства; для него Жюль Бастьен-Лепаж (Jules Bastien-Lepages) только одуроченная жертва „натурализма, импрессионизма, — выражаясь на арго, — которые стараются возвеличить бессилие и лень. Самый опасный симптом угрожающих нам бедствий — это погоня за оригинальностью“. Я не намерен сравнивать Буланже с Вольтером или Бастьен-Лепажом, художника со своеобразным и многосторонним талантом, с Кребльеном — тем аллоброгом, которого имеет в виду автор Философского словаря, — мне лишь кажется любопытным сопоставить двух выдающихся представителей совершенно разных родов искусства; их разделяет больше, чем столетие, но оба проявляют одинаковое недоверие к оригинальности, к разрушению всего установленного.

слов; но „людям, которые по своему положению и происхождению должны бы быть руководителями, не хватает теоретических познаний и опыта“, восклицает один из энциклопедистов. „Если бы эти люди были более просвещенными, наш язык обогатился бы тысячью точных и образных выражений, которых в нем недостает и в которых так сильно нуждаются ученые“. ¹

Какое идолопоклонство перед светским языком! Ученые не смеют употребить научное выражение, если оно не одобрено невеждами из высшего общества.

„Пора признаться“, продолжает автор статьи, „что язык французской аристократии есть лишь слабый и милый лепет; откровенно говоря, наш язык не обладает ни смелостью образов, ни пышностью периодов, ни той живостью выражений, которая могла бы передать чудесное, он не эпичен... Из какой-то ложной шепетильности, французский язык не решается назвать огромного количества существенно важных вещей“.

Во второй половине XVIII в. потребность обновления языка стала чувствоваться так же сильно, как необходимость изменить социальные и политические формы. И мы вправе спросить, почему же Вольтер и энциклопедисты, бывшие теоретическими выразителями этой общественной потребности, исторической миссией которых было подготовить умы людей к совершению этой революции, — почему они так благоговели перед обычаями и правилами аристократической речи?

¹ Encyclopédie de Diderot, article Langue française (Энциклопедия Дидро, статья Французский язык).

Энциклопедисты писали не для народа, а для более образованной интеллигентной части буржуазии, которая, стремясь уничтожить привилегии дворянства, старалась в то же время перенять его манеры. Философы, которых часто допускали как равных себе в аристократические салоны, старались склонить дворян к реформаторским идеям. „Им нужно было“, замечает М-м де Сталь, „приучить их, как приучают детей, играть с тем, чего они боятся“. Поэтому они не могли принять иного языка, кроме языка дворянства: больше того, они должны были преувеличенно охранять его чистоту, чтобы стать неуязвимыми для дешевого критиканства. Они были прежде всего полемистами. Беспощадной критикой они должны были разрушить те традиционные взгляды и понятия, которые поддерживали старый строй (*ancien régime*). Они не стали терять времени на реформу языка; они стараются сделать его более живым и острым, но как будто боятся вводить слова и выражения, которые своей новизной могли бы отвлечь внимание или затмить смысл их нападений. Еще со времени Декарта постоянной их заботой было иметь в своем распоряжении точный и ясный язык, который поражал бы противника как шпага.

Но независимо от энциклопедистов, язык незаметно подвергался переработке; результаты ее стали обнаруживаться за много лет до революции; дальше мы увидим, как эта скрытая до того работа, прорвавшись наружу, в продолжение лишь нескольких лет — с 1789 г. по 1794 г. — точно чудом обновила язык.

III

ЯЗЫК ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ

В XVIII в. язык видоизменяется: он теряет свой аристократический лоск и приобретает демократические замашки буржуазии. Многие писатели, не взирая на гнев Академии, стали свободно заимствовать слова и выражения из языка лавочников и улицы. Эта эволюция совершилась бы постепенно, если бы Революция не ускорила ее хода, увлекая ее далеко за грань, которую она не перешла бы, если б ее не заставило создавшееся положение.

Видоизменение языка шло рука об руку с эволюцией буржуазии. Чтобы найти причину этого лингвистического явления, необходимо осознать и понять явления социальные и политические, породившие его.

Буржуазия XVIII в. была богата, образована и оказывала скрытое влияние на ход общественных событий. С дворянством она боролась уже не за независимость общин, как в средние века, а за то, чтобы разделить с ним политическую власть и провести необходимые для своего развития реформы в области собственности, законодательства и финансов. Мирабо и люди, имевшие на него влияние, принадлежали к выдающимся умам того героического времени, ясно представлявшим себе цель,

которую надо было достигнуть: они старались не разрушить монархию, а придать ей конституционную форму, давшую могущество и благоденствие Англии и бывшую предметом восхищения энциклопедистов и физиократов. И действительно, после кровавых боев Революции, что движение в конце концов завершилось конституционной монархией. С 1815 г. развивается все тот же парламентаризм под разными политическими названиями.

Политические и экономические реформы не стремились к уничтожению дворянства, как правящего класса, но хотели выдвинуть рядом с ним новый класс, сильный богатством и знаниями. Дворяне никак не могли понять, что эти необходимые реформы, хоть они и были оскорбительны для их самолюбия и урезывали кое-что из их привилегий, должны были значительно увеличить ценность их земель. После того, как 4 августа дворяне, в порыве энтузиазма, дали увлечь себя, неспособные руководить развитием буржуазии, они, вместо того, чтобы предоставить это развитие нормальному и правильному течению, захотели остановить его. Но буржуазия была слишком сильна, чтобы, раз восстав, не опрокинуть все препятствия. Эта эволюция была так настоятельно необходима для ее существования, что она ни перед чем не останавливалась, лишь бы довести ее до конца: кровавые расправы и массовые экспроприации, законы о максимуме цен, — одним словом, — все эти исключительные мероприятия Революции, глубоко чуждые духу буржуазии, так же возмутили бы вождей Революции, как возмущали они Тэна, если бы их не принудили прибегнуть к ним

обстоятельства, не зависящие от человеческой воли.

Чтобы восторжествовать над аристократией и монархическим правительством, поддержанным правительствами всех европейских монархических стран, буржуазия должна была поднять народные массы, но вовлекать их в движение она не хотела. Писатели и философы, которые теоретически подготовили революцию, за немногими исключениями очень мало были озабочены участью рабочих: они обращались только к дворянству и буржуазии. „Вольтер хотел, чтобы просвещение было хорошего тона и чтобы философия соответствовала современному вкусу“, говорит М-м де-Сталь. Но приведенные в движение народные массы в свою очередь требовали реформ и хотели воплотить в жизнь высокопарные слова буржуазии. Вместо того, чтобы удовлетвориться гражданским равенством перед законом, они потребовали и равенства экономического в распределении средств к существованию. Лишь на краткий срок могли они осуществить в Париже свои коммунистические стремления, устроить братские трапезы и обсуждать проекты аграрных реформ и общественной собственности. Но это народное движение, разбуженное буржуазной революцией и преждевременно развившееся в битвах буржуазии с дворянством, должно было рухнуть.

Пока буржуазия боролась с аристократией, она должна была уступать требованиям народа, ей пришлось принять участие в его битвах и согласиться на реформы, которые были противны ее духу и которые она отменила, когда положение ее упрочилось. Реакционное

движение началось при Робеспьере и продолжалось, все усиливаясь, во время Директории. Конституцию 1793 г., даровавшую всеобщее избирательное право, можно считать кульминационной точкой революционного движения. Принятая 23 июня, она прежде чем могла быть проведена в жизнь, была аннулирована и заменена конституцией III (1795) года.

Эти прогрессивные и регрессивные политические колебания отразились также в религии, искусстве, нравах и языке. Атеизм, возведенный сначала в религию, стал считаться преступлением, бог, отмененный декретом, был восстановлен в своих правах, и католицизм, после Верховного Существа Робеспьера, снова стал национальной религией. Сенсуалистическая философия XVIII в. предварившая начало революции, царила в парижской Коммуне. Робеспьер относился к ней недоверчиво, ее считали виновницей „жестокостей и преступлений 1793 г.“, и в эпоху Директории она была заменена философией гармонии Азаиса (Azaïs), потом философией здравого смысла, занесенной Ройе-Колларом (Royer Collard) из Шотландии, и в конце-концов цветистым эклектизмом Кузена (Cousin). Давид, его ученики и соревнователи, забросившие „Куриациев“ и „Психей“ ради реалистического изображения уличных драм и сражений республиканских солдат, вернулись при Директории к своим прежним увлечениям — римлянам и сабинянкам. Влияние двойного политического потрясения сказалась и на одежде, и в мебели, и в самых традиционных социальных привычках: по республиканскому календарю год начинался 22 сентября, и день 1 января был взят под

подозрение, — было запрещено праздновать его как день Нового года. Говорят, что в этот день вскрывали письма на почте, чтобы посмотреть, нет ли в них новогодних поздравлений. Празднование Нового года было восстановлено во время Директории в V (1797) году.

Не избежали общей участи и литература, единственно возможная в эти смутные времена, т.-е. литература газет и памфлетов, политические диспуты в клубах и парламентских заседаниях.

С самого начала революции язык XVIII в. был отброшен, от него непосредственно перешли к демагогическому стилю. Во время Директории те непристойные слова (b....et f....), которые „Père Duchêne ressuscité“ думал снова вернуть к жизни, были изгнаны правительственным приказом, „как явные доказательства анархических тенденций 1793 г., которые необходимо уничтожить в зародыше“.

Дворяне сыграли в революции языка ту же роль, какую они выполнили в философском движении, своим пристрастием к самым рискованным парадоксам, бывшим для них только умственным лакомством, они содействовали крушению своего могущества. Эмигранты, искавшие при дворах Германии, Италии и Савойи убежища от революционных приговоров, были так развращены оппозиционной критикой философов, что их принимали за революционеров и часто даже, вследствие этого, подвергали изгнанию.

Представители дворянства блистали своим философским образом мыслей до тех пор, пока считали, что это их ни к чему не обязывает. 4 августа они решили, что могут пожертвовать

своими привилегиями и даже отказаться от своих дворянских титулов, присвоив себе имена разночинцев, ничем не меняя при этом своего положения, — так уверены они были в своем превосходстве и в том, что от буржуазного сброда, в котором они различали только поставщиков и прихлебателей, их отделяет огромное расстояние.

Дворяне довели литературную революцию до крайности. Это отмечают Э. и Ж. де Гонкур в своей „Истории французского общества во время Революции и Директории“, богатой оригинальными исследованиями, но к сожалению отчасти потерявшей ценность из-за искусственности стиля.

Первый номер „Journal des Halles“ (Рыночной Газеты), имевший эпиграфом „Где есть принужденность, там нет веселья“, начинался фразой: „J'entendons gueuler à nos oreilles des papiers“¹ (Я слышу, как режут над ухом газеты). Тем же языком пишет и „Chronique scandaleuse“ (Скандальная хроника), „Journal de la cour et de la ville“ (Придворная и городская газета), „Journal à deux liards“ (Двухкопеечная газета). Во всех этих газетах аристократы являются предшественниками революционеров в области вульгарного стиля и еще до „дюшенцев“ пользуются в полемике языком улицы. Дворянство и его защитники как бы предчувствовали то необычайное могущество, которое суждено было завоевать народной прессе, тогда только что народившейся. „Пером были сброшены в грязь дворянские султаны“, говорит Лемэр

¹ У придворных XVI века была мода соединять в глаголах первое лицо единственного числа с первым лицом множественного и говорить: „J'avons, J'aimons“ и т. д.

(Lemaire), „Пером заставили госпожу Бастилию плясать гавот, пером низвергли троны тиранов, перевернули весь мир и двинули народ на путь к свободе“.¹

Аристократия чувствовала необходимость привлечь на свою сторону народ и использовать его как таран для нападения на буржуазию. Чтобы завоевать его, она без стеснения сменила придворную речь на жаргон рыночных торговков, которые „мытарались на каторжной работе, бились как рыба об лед, терпели всякие невзгоды и требовали, чтобы несмотря на это их не считали лишь нулями при единицах“ (Сборник жалоб и сетований рыночных и базарных дам Парижа, составленный в большом зале Поршерон, август 1789 г.).²

Дворянство придерживалось своей традиционной политики: в междоусобных войнах, которые залили кровью средневековые города, оно часто становилось на сторону мелкого люда, ремесленников против цеховых мастеров и против городских властей, — на сторону *populo minuto* против *populo grosso*, как выразительно говорили флорентинцы времен Савонароллы. В наш [XIX] век английская аристократия, чтобы охранить себя от посягательств буржуазии и противодействовать агитации *Anti-corn-low-League*, пыталась привлечь на

¹ *Lettres b... patriotiques du Père Duchêne, N° 199* (Рас... патриотические письма папаша Дюшена).

² „... Trimant la galère, tirant le diable par la queue ayant bien de la peine, prétendant malgré tout ça n'être, plus regardées moins que des zéros en chiffres“.

(Cahier des plaintes et des doléances des dames de la Halle et des marchés de Paris, rédigé au Grand Salon des Porcherons, Août 1789).

свою сторону пролетариат промышленных городов, проводя, вопреки таким либералам, как Кобден (Cobden) и Брайт (Bright), законы, регламентирующие продолжительность рабочего дня.

Литературная революция, начатая аристократами, сразу приобрела широкий размах. Газеты, памфлеты, листки сыпались градом. Будучи сначала лишь политическим оружием, они вскоре стали средством наживы. „Невелика заслуга быть патриотом“, говорил Сен-Жюст одному книгоиздателю, „когда каждый памфлет приносит вам тысячи франков“. Чтобы овладеть читателем, надо было угощать его рыночным стилем, чтобы прельстить покупателя, прибегали к сенсационным заглавиям: экстравагантным, гротескным, простонародным, непристойным, устрашающим. Вот несколько примеров: „La bouche de fer“ (Железная пасть) Аббата Фоше, которого „Anti-Jacobinus“ окрестил „епископом гневом господним“, „Les œufs de Pâques, œufs frais de Besançon“ (Свежие пасхальные яйца из Безансона), „Le Rocambol, ou Histoire aristocrucino-comique de la Révolution“ (Рокамболь или аристо-капуцино-комическая история революции), „Lettres b... patriotiques du Père Duchêne (Рас... патриотические письма папаша Дюшена) с эпиграфом: „Купите это за два су, и вы посмеетесь на четыре“ и „Lettres b... patriotiques de la mère Duchêne“ (Рас... патриотические письма мамаша Дюшен), „Le plum-pudding, ou Récréation des écuyers du roi“ (Плумпуддинг или забавы королевских конюших), „Je m'en f...“ (На.... мне на это) с эпиграфом: „Liberté, libertas — f.....“, в 5 номере он меняет заглавие и называется: „Jean Bart, ou

suite de je m'en f. . . .“ (Жан Барт, или продолжение на. . . . мне на это); „Journal de la Rapée, ou „Ça ira!“ (Журнал набережной Рапэ, или „Пойдет!“), который начинается так: „Comme je ne nous estimons pas tant seulement f. . . .“ (Так как мы считаем себя не больше чем. . . .) „Le tailleur patriote ou les habits de Jean F. . . .“ (Портной-патриот или одежды Жана-Блудника), „A deux liards mon Journal!“ (Две копейки моя газета!), „Le Journal de l'autre monde, ou conversation vraiment fraternelle du diable avec Saint-Pierre“ (Газета с того света, или воистину братская беседа чорта со святым Петром), на обложке которой изображалось шейное отверстие гильотины, окруженное гирляндой отрезанных голов с надписью: „Картины из естественной истории дьявола. К сведению интриганов“.

Целые отряды газетчиков — их звали тогда глашатаями (proclamateurs) — выкрикивали эти названия и иногда даже изображали на перекрестках происшествие или сенсационную новость, описанную в листке, который они продавали.

Сотни памфлетов и брошюр заманивали покупателя такими кричащими заглавиями: „Si je me trompe qu'on me pend!“ (Пусть меня повесят, если я ошибаюсь!), „Prenez votre petit verre“ (Выпейте рюмочку), „Le parchemin en culotte“ (Грамота в штанах), „Bon Dieu! qu'il sont donc bêtes, ces Français!“ (О боже, как глупы французы!), „Les demoiselles du Palais-Royal aux États-Généraux“ (Барышни из Пале-Рояля в Генеральных Штатах), „La Mouche cantharide nationale contre le clergé“ (Национальная шпанская муха против духовенства), „Lettres de Rabelais, vol-au-vent aux décrets de l'Assemblée, boudin à la Barnave, dindon à la

Robespierre“ (Письма Раблэ, слоеный пирог из декретов Учредительного собрания, кровавая колбаса à la Барнав, индейка à la Робеспьер), „Le dernier cri du monstre“ (Последний крик чудовища), „La botte de foin, ou mort tragique du sieur Foulon“ (Вязанка сена или трагическая смерть г-на Фулона), „L'audience aux enfers de M. M. de Launay, Flesselles, Foulon et Savigny“ (Ауденция в преисподней господ ге Лонэ, Флесселя, Фулона и Савиньи), „Le coup de grâce des aristocrates“ (Последний удар аристократии); молитвы за умирающих и панихида, которая начинается так: „Пусть Вельзевул скребет аристократов своими когтями“. „Adresse de remerciement de Monseigneur Belzébuh pour l'envoi des traitres, le 14 et le 22 juillet“ (Благодарственный адрес его светлости Вельзевулу за доставку предателей 14 и 22 июля).

Страстный и резкий язык этих газет и памфлетов родился только сейчас: слова, ковавшиеся для потребностей момента, жалили; фразы, полные нового красноречия, поражали противника как удары дубины. Братья Гонкур, утонченные литераторы и глубокие эрудиты, в упомянутых выше двух книгах не скрывают своих роялистских убеждений, но они не могут не восхищаться литературным талантом революционных писателей. „Они отвечают аристократам площадным слогом, языком, подобранном в сточной канаве, которому они придают гибкость, не лишая его силы, и который они делают разнообразным и послушным, не лишая его яркости, выразительности и уверенности. Пусть вас не введет в заблуждение беглый взгляд на эти газеты, на эти непристойности (ces b.... et ces f....), потому

что они являются в них своего рода знаками препинания, преодолёйте отвращение, и вы найдете, кроме этой манеры выражаться, ловкое мастерство, умение привлечь народную массу и сделать доступными ее понимание принципы правления и абстрактные политические доктрины. Вы найдете там выразительный, сочный, мощный язык в духе Рабле, который подкрепляется шуткой или ругательством — всегда кстати, — исключительную подвижность ума, сжатость, логичность и крепкий простонародный здравый смысл... Придет время, когда признают ум, оригинальность и даже, может быть, красноречие — единственное настоящее революционное красноречие — у папаша Дюшена и в особенности у Гебера¹.

Оружие, поднятое сначала аристократами, было вырвано у них из рук и обращено против них. Их газеты имели очень ограниченное распространение и часто должны были прекращать издание из-за недостатка читателей, в то время как „могущественные Vade Революции“ заслужили неслыханную популярность.

Несмотря на успех папаша Дюшена и подобных ему писателей, несмотря на их исключительное влияние на ход событий, нельзя забывать, что роялисты первые украсили свои газеты „цветами плебейского красноречия“. Комиссия при Национальном Институте поспешила забыть этот факт в своем докладе о продолжении Словаря французского языка (год IX). „Во время Революции“, говорится там, „преувеличенность

¹ E. et J. de Goncourt, Histoire de la Société française pendant la Révolution, pp. 239—240, 4-е édition. (Э. и Ж. Гонкур. История французского общества в эпоху Революции, стр. 239—240, изд. 4-е).

понятий породила преувеличенность выражений; красноречием считали необычные соединения несовместимых слов; люди совершенно необразованные или очень мало образованные считали, что они призваны быть ораторами, поэтами, писателями; они хотели привлечь к себе внимание, и так как они не умели сделать этого разумными средствами, которые одобрил бы хороший вкус, то они прибегли к дерзкому языку, который как раз соответствовал их поведению. Они создали варварские слова, искусственные обороты речи и нашли слишком много подражателей, которые напыщенность принимали за величие, а нелепые безрассудства за удачную смелость". Институт повторял нападения, сыпавшиеся в то время со всех сторон на „бесчисленных болтунов, которые появились во время Революции и принесли к нам из всех уголков Франции свои провинциальные слова и выражения, обезображивающие теперь язык Расина и Бюффона „(Décade philosophique“, 30 Фруктидора X года). В те времена относились очень презрительно к литераторам, „вышедшим из рядов этой несметной толпы журналистов, рожденных Революцией: молодые приказчики, оставшиеся без работы, юные клирики, сбежавшие из семинарий, пытались продавать свое остроумие по два су за полстраницы, и их нанимали самые различные партии, начиная от папаша Дюшена и кончая „Придворным Вестником“ („Courier de la Cour“) (Bulletin de Paris, 7 Мессидора X года).

Понятно, что робкие писатели, состарившиеся подобно Лагарпу и Морелле в салонах при старом режиме, возмущались демагогическими речами революционных газет: они слишком шо-

кировали их привычки и академическую благо-воспитанность. Но политический деятель или историк, который разбирается в задаче, поставленной событиями перед этими журналистами, который знает, что им надо было овладеть вниманием литературно-неграмотной толпы, разжечь ее страсти и завоевать ее содействие для дела, предпринятого ими, должен понять, что стиль их соответствовал обстоятельствам, и может лишь удивляться, что нашлось столько талантливых писателей, которые для того, чтобы приобрести „ничтожное признание низов и подонков общества“, пользовались этим языком, слышшим стертым и устарелым. Ведь революционный журналист и памфлетист — не профессор риторики, следящий за непогрешимостью языка. Прежде чем думать о правилах грамматики и хорошего стиля, он, так же, как драматург, должен заботиться о том, чтобы увлечь толпу, к которой он обращается: он — полемист и должен подчиниться языку, вкусам, привычкам и указаниям своих читателей.

Простонародная речь, уснащенная сочными ругательствами, которою буржуазия и дворянство пользовались как маскарадным костюмом, должна была быть изгнана, как только битва была выиграна. Первым шагом к очищению революционного языка было изгнание приказом правительства непотребных слов „папаши Дюшена“, о котором говорилось выше. Начались громкие протесты против „введения или употребления новых выражений, существование которых ничем не оправдано и не нужно... против новомодных оборотов, соединяющих слова, которые с удивлением видят себя рядом... Они введены только благодаря полному

забвению всяких приличий, полному смешению всех социальных оттенков, благодаря сатурналиям, которые сделали бездарность эпитетом всякого могущества, и благодаря необходимости унижаться, чтобы избежать преследований“ („Mercur de France“, Термидор VIII года). Institut de France, который так же, как прежде Академия, считал себя цензором языка, претендовал на честь быть верховным учреждением по чистке революционных слов. „Привести в порядок французский язык — дело Института“ — говорится в приведенном выше докладе. „Декада“ („La Décade“, 20 Мессидора IX года) объявляет, что комиссия Института, которой поручен был Словарь, посвятила свое первое заседание „рассмотрению слов, наново введенных в язык за последние десять-двенадцать лет, с целью сохранить только те, которые признаны будут необходимыми, правильными и благозвучными, а также и те, которые утверждены долгим употреблением“.

Гонение на слова и выражения, начавшееся теперь, было не невинным времяпрепровождением литераторов, а серьезным политическим делом; теперь заботились о том, чтобы вытравить из языка, так же как из философии, религии и нравов, всякий след революции: она преследовала, как кошмар, тех, кого заставляла трепетать прежде и кто хотел теперь наслаждаться жизнью. „Каждый раз, как ход наших мыслей приводит нас к рассуждению о человеческой судьбе, перед нами встает Революция“, говорит М-м де Сталь, анализируя это умственное состояние. „Напрасно стараешься перенестись мыслью на берега ушедших времен;.. если в этих метафизических странах

хоть одно слово разбудит какое-нибудь воспоминание, душевные волнения охватывают вас с прежней силой. И мысль не в силах быть вам поддержкой“.¹

Не удовлетворившись изгнанием ругательств „папаша Дюшена“, теперь стали преследовать самые приличные и безобидные слова. „Меркурий“ („Mercure“), где писали Фонтанэ (Fontanès), Шатобриан и члены католической партии, ополчался против таких слов, как nouveauté (новость), enrichisseur (обогащающийся), étroitesse (узость), hommes verveux (энтузиасты, вдохновенные люди), plume libérale (либеральное перо). Он называл это „чудовищным варваризмом“ (1 Вандемьера X года).

„Décade philosophique“ ставили в упрек ее название и советовали переменить его. Она робко отвечала (в те времена опасно было прослыть революционным): „Если слово *décade* употребляли во время Революции, то разве за это его следует запретить? Мы согласны, что нельзя слышать без отвращения названия различных партий, это оскверненные слова, и нам хотелось бы, чтобы они были забыты, если это возможно. Но слово „декада“ нельзя причислить к ним. Оно обозначает только деление месяца на десятидневные части. Уничтожены были декады, как дни отдыха, но не декады как таковые“ (1 Термидора X года).

Среди этих палачей языка выделяется Лагарп. Он написал брошюру, чтобы выразить свою ненависть к обращению на „ты“, которое было навязано ему в 1793 г., и книгу

¹ М-м де Сталь, О литературе, ч. I, гл. IX. (M-me de Staël, De la littérature, 1-re partie, ch. IX.)

в сто с лишним страниц, чтобы очистить французский язык от революционной грязи. „Прежде“, говорит он, „бездарные писаки поставляли всякому желающему поздравительные, любовные и ругательные письма: существовали стили за десять, двадцать и тридцать су, первый для простонародья, не умеющего ни читать, ни писать, второй — для тех, кто немного учился тому и другому, третий — для щеголей из приказчиков. Этот последний был слогом цветистым: за тридцать су вы получали и глубокомыслие и красноречие. Вот точная иерархия революционного красноречия, оно произвело пять-шесть писателей и столько же ораторов Горы, которые возвысились до стила в тридцать су... Эти корифеи глубоко презирают своих собратьев за десять су. Бедняги и не подозревают, что настанет день, когда между ними не будут видеть никакой разницы, как не видят ее сейчас между нашими бездарными писателями (*écrivains des charniers*)“.

за язык: „*démocratiser*“ (демократизировать), Разнеся таким образом писателей, он принялся восклицает он, „это одно из слов, созданных Революцией. *Moraliser* — глагол среднего залога, который никогда не обозначал сделать моральным, но — говорить о морали, проповедывать мораль; *démoraliser*, следовательно, должно означать: прекратить говорить о морали. *Fanatiser* (возбуждать фанатизм) — выражение не менее варварское, оно противоречит всем правилам словообразования, как если бы мы сказали *authentiser*, *héroiser* вместо сделать достоверным, сделать героическим и т. д. Ни одно прилагательное, оканчивающееся на *que*, не может образовать глагола на

iser“.¹ На это ему заметили, что говорят: électriser, paralyser, tyranniser, dogmatiser, canoniser, и что он сам употребляет эти слова.

Мари-Жозеф Шенье (Marie Joseph Chénier) выступил на защиту опальных слов: „Возможно, что многие ненавидят в новых словах только новые идеи и учреждения“, говорит он. „Однако с этим надо быть осторожным, потому что многие слова, которые считают рожденными Французской Республикой, существовали еще во время монархии... Многие хотели бы запретить слова civique (гражданский) и citoyen (гражданин), как опасные новшества, однако это старые слова“. Возраст слова имел мало значения; если только оно употреблялось революционерами, оно считалось уже подозрительным, его судили и выносили ему приговор. „Mercure“ (3 Вандемьера IX года) извинялся за употребление слова patriotisme (патриотизм), которое надо было понимать в его первоначальном значении, так как „люди 93 года не знали патриотизма, хотя и говорили о родине“. Шатобриан утверждал, что остаешься „холодным при сценах из Горадиев, потому что за всеми этими словами: „Как! вы хотите оплакивать меня, когда я умираю за свою родину!“ видишь только кровь, преступления и язык трибуны Конвента“.²

Несмотря на это дикое преследование слов и выражений, значительное количество из них,

¹ L a h a r p e, Le fanatisme dans la langue révolutionnaire, t. V des œuvres complètes, édition de 1820 (Лагарп, Фанатизм в революционном языке, т. V полного собрания сочинений, издание 1820 г.)

² Chateaubriand, Le génie du christianisme, 1-re édit., t. IV, p. 189 (Шатобриан, Гений христианства, 1-е изд., т. IV, стр. 189).

проникнув сквозь брешь, пробитую Революцией, продолжало существовать в языке: бессильная злоба грамматиков и пуристов только официально подтверждала рождение буржуазного языка. Нам предстоит изучить это обновление языка в его причинах и следствиях.

Революция призвала новый класс к политической жизни, которую она тут же создавала: государственные дела, решавшиеся до тех пор тайно в королевском кабинете, стали обсуждаться публично в газетах и на парламентских заседаниях. Общественное мнение становилось силой, к нему надо было обращаться за помощью, чтобы поддержать правительство. Эти новые политические обстоятельства требовали также нового языка, который из политических сфер должен был впоследствии перейти в чисто-литературную область.¹

Люди, которые во время Революции вершили государственные дела, которые обсуждали их

¹ М-м де Сталь, в своем безрассудном и немного наигранном пристрастии к отцу (Jacques Necker), приписывает ему честь быть „первым и до сих пор непревзойденным образцом общественного деятеля, обладающего хорошим стилем“ (De la littérature, 2-e partie, ch. VII). — Сантиментальный и напыщенный слог г. Неккера является скорее образцом того высокого литературного стиля, которым пользуются финансисты в своих рекламах, смешивая проценты с нравственностью, интересы отца семейства с доходом от рудников... Письмо, посланное им 23 июля 1789 г. из Женевы Людовику XVI является прекрасным образцом его слога: „Я задержался, Сир, только на время, необходимое для того, чтобы осушить слезы, вызванные Вашим письмом, и лечу, чтобы служить Вам. Я не принесу Вам своего сердца — это ваша собственность, отданная в полное Ваше владение, на которую я не имею больше права. Я с нетерпением считаю и стараюсь приблизить те мгновения, когда я предложу Вам всю свою кровь до последней капли“ и т. д.

на трибуне и в печати, собрались из разных провинций, они воспитывались вдали от двора и влияния академий и салонов. Другие же, получившие, как Талейран, аристократическое воспитание, сознавали несовершенство языка.¹ Тот язык, на котором они говорили дома, в своих конторах и у себя в кабинете, был язык буржуазии — их друзей и клиентов, а не язык версальских придворных и писателей Академии; последние, находясь постоянно среди людей высшего света и добиваясь их одобрения, старались употреблять только рафинированный язык. Но революционные журналисты и ораторы обращались к иной публике, сами буржуа, они ставили себе целью покорить буржуазию и овладеть ею. Говорили и писали они, конечно, на языке, который слышали вокруг, в своей социальной среде, так же, как „отцы нашего языка“ Раблэ, Монтень и Кальвин (Calvin), чьи слова и выражения они вернули к жизни в огромном количестве. Политические события, в которые они были вовлечены разыгрались так неожиданно и стремительно, что, принужденные писать и говорить под давлением момента, они не имели ни желания, ни времени сообразоваться с академическими правилами, выбирать выражения и даже подчиняться самым элементарным правилам грамматики... Они ведь были призваны ниспровергнуть

¹ „Наш язык“, говорит Талейран, „потерял много сильных выражений, изгнанных вкусом, скорее слабым, чем тонким, — их надо вернуть. Древние языки и некоторые из новых богаты сильными выражениями, смелыми оборотами, которые вполне соответствуют современным нравам, надо ими воспользоваться“. Цитата взята из „Неологии“ Мерсье, статья Синонимика.

общественный строй, мешавший развитию их класса, и не должны были уважать ни язык ни обычай литературного общества, ставшего на защиту этого языка. Роспуск Академии, „этого последнего оплота всех аристократий“, ¹ был логическим следствием событий.

Они писали и говорили, не заботясь о традициях, и вышли из узкого круга, который сковывал изящную речь: невольно, и сами того не подозревая, они в самое короткое время разрушили творение отеля Рамбулье и эпохи Людовика XIV. Без всякого стеснения они пользовались простонародными словами и оборотами, ежедневное употребление которых убеждало в их силе и полезности, и не подозревали, что они были изгнаны из салонов и двора; они привезли провинциализмы со своей родины, они употребляли свои профессиональные и торговые выражения, создавали слова, которых им не хватало, и меняли смысл тех, которые им не подходили. Революция воистину была творцом в области языка, так же как и в области политического устройства, и Мерсье был прав, говоря, что „язык Конвента был так же нов, как положение Франции“.

Я доказал цитатами, с какою яростью Вольтер и пуристы до и после Революции во что бы то ни стало защищали вышедший из моды язык XVII в., чтобы дать представление о внезапной языковой революции, совершившейся между 1789 и 1794 гг. Я приведу несколько далеко не полных списков новых и старых слов, кото-

¹ Rapport, lu par David, député du département de Paris à la tribune de la Convention, le 8 août 1793. (Доклад прочитанный Давидом, депутатом парижского Департамента, в трибуны Конвента 8 августа 1793 г.)

рыми в то время обогатился язык, их однако будет достаточно, чтобы показать читателю, что большая часть новшеств, усвоенных с тех пор, была введена в эти несколько революционных лет.

„Они хотели сократить фразы введением новых глаголов, лишаящих стиль всякого изящества, не делая его более точным“, говорила М-ме де Сталь и в доказательство приводила: *utiliser* (утилизировать), *préciser* (определить с точностью, уточнить), * *activer* (торопить, ускорять).¹ Необыкновенная точность языка XVIII в., которой никогда не достигнет современный язык, перегруженный прилагательными, образами и блестящими, но обычно неточными сравнениями, не была тем качеством, которого искали революционеры: им нужен был образный, выразительный и богатый язык. Так как в аристократическом языке было мало глаголов — они делали глаголы из существительных, не слишком заботясь об их грамматической правильности и идеальной точности их значения. В перечне глаголов, введенных или созданных во время Революции, и других, которые я привожу дальше, я даю за малым исключением слова, вошедшие в употребление несмотря на запрещение Академии.

Républiquaniser (сделать республиканским), *ractiser* (заключить договор), *centraliser* (централизовать), * *réquisitionner* (реквизировать), * *légiférer* (предписывать), *égaliser* (уравнивать) — „Бастилия, как и смерть, уравнивает всех, кого

¹ De la littérature, 2-е partie, ch. VII, Du Style (О литературе, часть 2-ая, гл. VII, О стиле). — Слова, отмеченные звездочкой, не находятся в издании 1835 г. Словаря Академии, хотя и встречаются в книгах академиков.

поглощает“ — Ленгэ (la Bastille comme la mort égalise tout ce qu'elle engloutit — Linguet). * Journaliser (писать для газеты), élire (избивать) — этого слова почти не знали до Революции, народ коверкал его на первых выборах, в которых участвовал, и часто можно было услышать, как очень почтенные члены говорили: „On a éli monsieur un tel président¹ (Мерсье, Неологический словарь), ordonnancer (предписывать), * pamphlétiser (сочинять памфлеты), * radier de la liste des émigrés (вычеркнуть из списка эмигрантов), * baser (основывать, базировать) — „Это слово — тяжелый, ненужный паразит, оно является самым неудачным из современных неологизмов, до сих пор вместо него употребляли: fonder, établir (основывать, учреждать)... Пусть оно останется для людей трибуны, как крюкотворные обороты для адвокатов („Меркурий“, 1 Жерминаля X года). * Scélératiser (совершать преступление), * juilletiser (действовать, как 14 июля 1789 г., день завоевания Бастилии) — „Когда же народы, по примеру Парижа разрушат бастилии и повторят июльские дни“ (renverseront les Bastilles et juilletiseront), caméléoner (часто менять убеждения), * mobiliser (приводить в действие, мобилизовать), * démarquiser (лишить титула маркиза), démocratiser (демократизировать), * déprêteriser (снять сан священника) — Генеральное совещание Парижской коммуны извещает, что установлен регистр для записи заявлений граждан, желающих сбросить духовный сан, „распопиться“ (qui voudraient se faire déprê-

¹ „Г-н такой-то был избран председателем“ — неправильное употребление глагола: éli вместо élu в passé indéfini (прошедшем времени).

tiser), détiarer (сбросить тиару, папскую корону), religionner (делать религиозным), athéiser (делать атеистом), *messer une messe en quatre temps (служить обедню в два счета), domestiquer (приручить), *esclaver une nation (поработить нацию), héroïser (совершать геройства), révigorer (вернуть силу), *viriliser (придать мужественность), enjuronner (привязаться к юбке, к женщине), *gigantifier le péril (чрезмерно преувеличивать опасность), *abominer (внушать отвращение), *soporifier (усыпить), *fabuliser les nouvelles (привирать, рассказывая новости), féruer une assemblée (овладеть собранием), *paroler (дать слово), forcener son langage comme Collot d'Herbois (неистовствовать в своей речи, как Колло д'Эрбуа), раôner (кичиться), léoniser (сделать подобным льву) — „Революции так сильно возбуждают умы, что придают народам львиную храбрость (léoniser les peuples) и тогда они способны уничтожить тиранов“ (Мандар—Mandar), *girouetter (вертеться, как флюгер) — глагол очень нужный в те времена, когда убеждения менялись так часто, что Словарь был назван современниками „Словарем флюгеров“, fanger (загрязнить), ligaturer un peuple (связывать народ), juvenaliser (подражать язвительному слогу Ювенала), *machiaveliser (действовать в духе Макиавелли), *cromvelliser (стоять за политическую систему Кромвеля), *don-quistotter (донкихотствовать), avocasser (кляузничать), *convulser (конвульсировать), *soquiner (вести беспутную жизнь), *déssexualiser (лишать пола), *diamanter (блистать, как алмаз), *enceinturer, rendre enceinte (сделать беременной), pyramider (образовать пирамиду) — „дикость, занесенная к нам из Египта“, однако

Дидро писал: „се groupe pyramide bien“ (эта группа составляет правильную пирамиду); *pantoufler* (болтать глупости, лапти плести) — „Национальное собрание заставило короля Кокко ограничиться болтовней с королевой об общественных делах“ („L'assemblée a réduit le roi Coco à pantoufler avec la reine sur les affaires publiques); M-me де Севинье сказала: „Теперь С... совсем свободен, мы отлично поболтаем“ (nous allons bien pantoufler); *ébêtir* (забить голову), *deshumaniser* (сделать бесчеловечным), *impressionner* (повлиять, произвести впечатление), *imager son discours* (разукрашивать свою речь, делать ее образной), **expressionner par des intonations* (придать выразительность интонацией), **gester* (жестикулировать) — Лекэн жестикулировал с благородством, *historier* (подробно рассказывать), *éditer* (издавать), *tomar* (делить на томы) — напр.: *tomar plus que ne comporte la matière* (делить книжку на большее количество томов, чем это позволяет материал), *mystifier* (мистифицировать), **agrémenter* (украшать), **susurrer* (шептать), **futiliser* (обесценить), **moderniser* (модернизировать), **fanfarer* (трубить, рекламировать преувеличенно), *mélodier* (напевать), **odorer* (вынюхивать), *subodorer* (чуть издали), *hameçonner* (поймать на удочку), *naufziger* (потерпеть кораблекрушение), *frugaliser par amour de la République* (урезывать себя из любви к Республике), *stériliser l'industrie* (обесплодить индустрию), **ajourner* (отсрочить), **moduler* (модулировать), *urbaniser une assemblée* (придать ассамблее городской вид), **pologniser* (подвергнуться горькой участи Польши, разделенной на части), **germaniser* (германизировать), **épingler* (пришпилить, по-

садить на булавку) — отсутствие этого глагола оправдывает перифразу Делиля. *Substantiver (придать конкретную форму), *éduquer (дать образование, воспитать), *idéaliser (идеализировать), *égoïser (быть эгоистом, много говорить о себе) — „Нельзя упрекнуть автора знаменитых мемуаров Неккера в том, что он не „эгоизировал“.

Новые существительные и прилагательные нужны были революционерам так же, как и глаголы, революционеры вновь ввели в употребление старые слова, которые исчезли со времени М-м де Севинье и Лафонтена. Многие из них были снова забыты, но еще большее число постоянно употребляется и поныне вопреки предсказанию „Меркурия“ („Mercure“), ставшего отголоском грамматиков и пуристов X года и насмешливо справлявшегося: „Где же слова, созданные Ронсаром, дю Белле, дю Барта и многими другими? Что случилось в следующем веке со словами, смело пущенными в оборот Менажем?“. Но насмешки их были напрасны: Ронсар, Баиф (Baïf) и их друзья из Плеяды, хотели заменить в поэзии латинский язык французским, который ученые считали варварским и неряшливым, неспособным на изящество и пышность, присущие греческому и латинскому языкам, — „тем более“, говорили они, „что он не имеет склонений, стоп и чисел, как эти два языка“.¹ Вместо того чтобы подражать Вийону и смело

¹ J. du Belleu, La défense de la langue, l. I. ch. IX (Дю Беллей Защита языка, кн. I, гл. IX). Ронсар в завещании поручил своим друзьям и ученикам не дать исчезнуть старым французским выражениям и „защищать их от мошенников, которые находят изящным только то, что стянуто с латинского и итальянского“.

слагать стихи на народном языке, поэты Плеяды пошли на компромисс и заимствовали у греков и римлян их метрику и слова, „офранцузивая“ их. Их революция удалась: они разрушили латынь так основательно, что и их слова, произведенные от античных, погибли в этом разгроме. Революционеры же, наоборот, ввели в аристократический язык только слова народного происхождения. Эти слова обладают удивительной жизнеспособностью, в то время как жизнь слов, введенных учеными и писателями, непрочна и недолговечна.¹ Словарь Академии VI года, издание которого было объявлено Конвентом, дал буржуазии право поместить в своем „дополнении“ 336 новых слов. Это было очень мало, ибо как раз в то время были пущены в ход выражения парламентского языка.

Organisateur (учредитель, организатор), désorganisateur (разрушитель порядка, дезорганиза-

¹ Латинский язык дает нам замечательный пример: слова литературного языка умирают вместе с падением Римской империи, тогда как народная речь живет до сих пор в созданных ею словах итальянского, провансальского, испанского и французского языков.

Литературный латинск. язык.	Народн. латынь	Итальянский яз.	Испанск. яз.	Французский яз.
equus	caballus	cavallo	caballo	cheval
pugna	batalla	bataglia	batalla	Bataille
osculari	basiare	baciare	besar	baiser
os	bucca	bocca	boca	bouche
felis	catus	gatto	gato	chat
Urbs	villa	villa	villa	ville
ignis	focus	fuoco	fuego	feu
jus	directus или drictus	ditto	derecho	droit

тор), réorganisation (преобразование, реорганизация), agitateur (возмутитель, бунтовщик, агитатор), agitable (подверженный возбуждению, возбудимый), modérantisme (умеренность политической партии, модерантизм) — „его обвиняют в умеренности, чтобы убить умеренные убеждения“ (on l'accuse de modérantisme pour tuer la modération), députation (депутация, посольство), député (депутат, выборный), civisme (гражданское чувство), incivisme (недостаток гражданских чувств), propagande (пропаганда), propagandiste (пропагандист), réfractaire (непокорный) — священник или чиновник, отказавшийся дать присягу гражданскому положению о клире; позже это название заменило prêtre insermenté (неприсяжный священник), citoyenne (гражданка), flagellateur des abus (бичующий злоупотребления), suspect (подозрительный — человек, заподозренный в аристократизме), fraternisation des peuples (братание народов), tyrannicide (тираноубийство), légicide (законопреступление), liberticide (губитель свободы), journalisme (журналистика), journaillon (писака, бумагомаратель), désabonnement (отказ от абонемента); logographe (скорописец, тот, кто пишет с быстротой речи), — название газеты, печатавшей отчеты прений Законодательного собрания, ingouvernable (неуправимый), bureaucratie (бюрократия), bureaucrate (бюрократ), aristocrate (аристократ — сторонник прежнего строя), aristocratie (аристократия) — „каста бывших благородных и привилегированных, вообще врагов правительства“ (определения Словаря Академии VI года). Démocrate (демократ) — „в противоположность аристократу, тот, кто предан делу Революции“; однако контр-революционная

газета „Деяния апостолов“ (Les actes des Apôtres 1789) имела эпиграфом „Liberté, gaité, démocratie royale“ (Свобода, веселье, королевская демократия), Négricide (негроубийца), négrophilisme (желание свободы негров, негрофильство) — так называлась брошюра в X году, в которой требовали восстановления торговли неграми и их рабства. Множество реакционных и католических изданий того времени восхваляло рабство. Moutonaille, производное от „барана“ — mouton (иронически говорится о смелых вождах, ведущих людей, как стадо баранов); salariat (работа по найму), salarié (состоящий на жалованьи, наемный работник) — „я знаю только три способа существования в обществе: надо быть или нищим, или вором, или наемным работником“ (Мирабо), théophage (богоед), насмешливый эпитет, заимствованный у протестантов, называвших так католиков за то, что они „вкушали тело и кровь Христову“ при причащении; у революционеров оно обозначало церковнослужителей; socré-Dieu (пожиратель бога); sarcinade (глупое, пошлое поучение); sarcinage (капуцинство); gobe-Dieu (ханжа, который часто причащается, богопивец). Agio ажио биржевая прибыль), agioteur (биржевой игрок), faiseur (мастер, делец), fricoteur (грабитель, аферист), fricasseur d'affaires (плохой делец), spéculateur (спекулянт), soumissionnaire (подрядчик), capitaliste (капиталист) — „это слово известно только в Париже; оно обозначает богатое чудовище, человека с каменным сердцем, любящего только деньги: когда говорят о земельном налоге, — он насмеяется, у него нет ни вершка земли; как можно взять с него налог? Подобно тому, как арабы, ограбив в пустыне караван, зака-

пывают свое золото, боясь, что его отнимут другие разбойники, так и капиталисты запрятали наши деньги“ (Dictionnaire anecdotique).

Революционеры создавали слова тогда, когда в них чувствовалась потребность. Sans-culotte (санкюлот), sans-culottides (революционные праздники, пять дополнительных дней), vendémiaire (роялист участник выступлений против Конвента в месяце в аидемьере) fructidorien (участник в событиях 18 Фрюктидора), thermidorien (участник в выступлении против Робеспьера 9 Термидора), septembrisade (сентябрьские казни), septembriseur (сентябрист), terrorisme (терроризм), terroriste (террорист), vandalisme (вандализм, варварство); Грегуар-де-Блуа в первый раз употребил это выражение в докладе Конвенту: „Я создал слово, чтобы убить вещь“, говорит он в своих воспоминаниях. Язык был в то время орудием разрушения. Защищая артистов, которых хотели обложить налогом, Мерсье говорит: „Для того чтобы лучше разрушить положение вещей, разрушили и язык“ („Tribune publique“, octobre 1796). Thélégraphe (телеграф) „машина, придуманная со времени Революции — нечто в роде воздушной газеты, азбуку которой знает только правительство“. Lèse-peuple (оскорбление народа), — „преступление большее, чем оскорбление величества“.

Язык обогащается бесконечным количеством необходимых и выразительных слов.

Enleveur (похититель), ossu (костистый), ossatur (костяк, остов), inabordé (непосещаемый), infranchissable (непреодолимый), acrimonie (едкость, язвительность), inanité (тщетность), classement (разделение), classification (классификация),

classificateur (классификатор), classifieur (классифицировать), gloriole (мелочное тщеславие), élogeux (хвалебный), inconsistant (бессвязный, неосновательный), inéluctable (неизбежный), imprévisible (непредвиденный), fortitude (нравственная сила), ingéniosité (изобретательность), hébétément (отупение), engloutissement (поглощение), imagerie (торговля образами, картинами), effarement (смятение, испуг), vulgarité (вульгарность). — М-м де Сталь утверждает, что она первая ввела в употребление это слово. „La famosité de ce soumissionnaire est écrite en lettre de sang“ (Дурная слава этого подрядчика записана кровавыми буквами). Brûlement des paperasses de la robinocratie (сожжение старых бумаг робинократии, т. е. юристов). Logo-diarrhée (словоизвержение, многословие) — Вольтер употребил его как-то в частном письме. Oiseux (бездельный, праздный) — было употреблено Мазильоном (Masillon), за что его упрекали в новаторстве; ему был сделан выговор и за то, что он сказал „contempteur des lois“ (порицатель законов).

Слово paguère (недавно, намеренно), которое было изгнано и заменено выражениями „il n'y a pas longtemps, depuis peu“ (несколько времени тому назад) было снова принято, как и certes (конечно), на исчезновение которого жаловался Лабрюйер. Отель Рамбулье вел борьбу против слова car (ибо); Гомбервиль (Gomberville) хвастал, что ни разу не употребил его в своем четырехтомном романе „Полександр“.

Философия и науки приобрели множество терминов: idéaliser (идеализировать), idéalisme (идеализм), idealiste (идеалист), indifférentisme (индифферентизм, безразличие в вопросах веры),

idéalisation (идеализация), idéalité (идеальность), perfectionnement (усовершенствование), perfectibilité (способность усовершенствоваться). Etre suprême (Верховное Существо). — „Робеспьер вздумал провозгласить Верховное Существо Республики, не имевшее ничего общего с богом... Один санкюлот сказал: „Нет больше бога, есть только Верховное Существо“ (Лагарп). Попытались ввести слово *sciencé* (ученый), но оно было не нужно, так как со средних веков существовало равное ему *savant*. Англичане, не имеющие этого слова, затруднялись дать название человеку, занимающемуся наукой; они говорили: „изучающий санскрит“, „изучающий философию“ (*student of sanscrit, student of philosophy*) и т. д. Недавно они переняли французское *savant* и создали неологизм *scientist*.

Слова, незадолго до того вошедшие в язык, во время Революции стали общеупотребительны:

Modernisme (модернизм), naturalisme (натурализм), употребившийся в отношении к религии, — религия природы. Sélection (естественный подбор) — слово, вновь введенное из английского языка м-м Клеманс Руайе (Clémence Royer) в предисловии к переводу книги Дарвина; rieniste (отрицатель), nihiliste (нигилист) — создание этого слова приписывается Тургеневу, однако Кастиль (U. Castille), обладавший очень богатым словарем, употребил его в своей книжке „О людях и нравах царствования Луи-Филиппа“ („Les hommes et les mœurs du règne de Louis Philippe“ 1853).

Старые слова получили новое значение: lanterne до Революции значило быть в нерешии-

тельности, колебаться — „Le cardinal lanterna tant les six derniers jours“ (de Retz“) (Кардинал сильно колебался в последние шесть дней). После Революции оно значило — повесить на фонаре. *Moralité* — до Революции — рассуждение о морали, нравоучение, переданное в какой-нибудь иносказательной форме; после Революции — моральность, нравственные качества какого-нибудь человека, его привычки и принципы (Словарь Академии, год VI). *Niveleu* — до Революции — измерять уровнем, нивелиром, *niveleur* — тот, для кого измерение нивелиром является профессией, после Революции — уравнивать, *niveleur* — „тот, кто стоит за равенство состояний и наделов земли“. *Egalité* — до Революции — одинаковость, соответствие, полное сходство двух вещей; после Революции — равенство в правах, закон одинаковый для всех и в защите и в наказании. *Patente* (свидетельство) — до Революции — выражение канцелярское и финансовое, употреблявшееся только в специальных фразах: *lettre patente* (жалованная грамота); после Революции — патент, концессия или привилегия, покупаемая у правительства на право занятия каким-нибудь производством или торговлей. *Juré* — до Революции — тот, кто дал надлежащую присягу при получении звания мастера в какой-нибудь профессии: *chirurgien juré* (присяжный хирург), *juré vendeur de volaille* (присяжный продавец живности), *maître juré* — в ремесленных цехах так называют людей, приставленных, чтобы следить за исполнением уставов; после Революции — комиссия из простых граждан, созванных, чтобы констатировать открывшееся преступление. *Spéculer*, означавшее — пре-

даваться самому отвлеченному философскому и математическому мышлению, — во время Революции перешло в язык финансистов (спекулировать). *Souverain* (верховный властитель) — после Революции существительное собирательное: „*L'universalité des citoyens est le souverain*“ (совокупность всех граждан — есть верховная власть).

Литература XVIII в. помимо других достоинств отличается точностью и ясностью языка, сдержанностью и тщательным подбором образов. Эти качества развились в ней благодаря тому, что она служила орудием борьбы. Романы, повести и трагедии развивали философские теории: самые сухие споры, например, о хлебной торговле, были облагорожены возвышенными идеями. Противоположные мнения забрасывались насмешками, и противники побеждали друг друга рассуждениями. Язык неизбежно должен был стать точным, сдержанным в образах и скупым на слова, чтобы не затемнять предмета спора. Со времени Декарта критический ум был по преимуществу умом философским, философы картезианской школы предлагали начинать спор с определения терминов, которые будут в нем употребляться, и энциклопедисты придавали такое же значение точному определению слов: Дидро утверждал, что часто споры бесконечно затягивались из-за того, что противники употребляли одни и те же слова с различными значениями, Кондильяк считал, что язык — это аналитическая система, и если слова — носители мыслей, то главное орудие в искусстве мыслить, — это язык точный, как математика, со словами правильно употребленными и расставленными.

Разум, который впоследствии был обоготворен членами Коммуны 1793 г., был для энциклопедистов верховным властителем: они ничего не принимали на веру со слов учителя; они не уважали ничего, даже если оно было освящено традицией; они не признавали даже того, что было признано необходимым по социальным условиям. Они критиковали все. Социальные и политические законы, религиозные верования, философские системы, светские предрассудки, все должно было предстать перед судом Разума и доказать свои права на существование: все было разобрано на части, проанализировано и тщательно взвешено. По образному выражению Гегеля „человек в то время ходил на голове“.

Но рядом с энциклопедистами появились другие писатели, которые усомнились в могуществе анализа, поставили под вопрос, мышление, построенное на разуме, и противопоставили разуму — чувство. „Что бы ни говорили моралисты, разум очень многим обязан чувствам, которые, по всеобщему признанию, тоже многим ему обязаны: благодаря их деятельности наш разум совершенствуется“, писал Руссо в своем „Рассуждении о неравенстве людей“ (*Discours sur l'inégalité parmi des hommes*), одном из самых оригинальных шедевров XVIII в. В другом месте этого же „Рассуждения“ он решился прибавить: „Я осмеливаюсь утверждать, что состояние размышления — противестественное состояние, и человек, который размышляет, — ненормальное животное“. Он говорил Бернарден де Сен-Пьеру: „Когда человек начинает рассуждать, он перестает чувствовать“. Чувство развинчивало разум, сердце одерживало верх над головой.

Брожение, происходившее в обществе XVIII в., должно было не только привести к изменению политического строя, но также к обновлению вкусов и чувств общественного человека.

Любовь к природе, незнакомая аристократам, покидавшим свои земли ради двора и версальских садов, так неожиданно проснулась в душе городских буржуа, что они наивно решили, что открыли природу, так же как Христофор Колумб Америку. Никто до них ее не знал и никто о ней не писал. „Поэзия, которую мы называем описательной, говорит Шатобриан в „Гении христианства“, была неизвестна в древности. Гезиод, Феокрит и Виргилий несомненно оставили нам очаровательные описания сельских работ, нравов и наслаждений, но что касается картин природы, описаний неба или времен года, которые обогатили современную поэзию, мы находим на это в их произведениях только слабые намеки“. Новая литература не стала заниматься сельскими работами и нравами, но природой с точки зрения романтической, живописной и сентиментальной: природу наделяли чувствительной душой. За несколько лет до Революции один швейцарский ученый, естествовед Бонне (Bonnet), который на старости лет стал философом, открыл у растений бессмертную душу и установил небесный рай для ослиц и мулов, приговоренных к тяжелому труду на земле, вероятно за то, что в земном раю они поели запрещенного сена.

Любовь — страсть, которую в аристократический период сдерживали, обуздывали, подчиняли политическим уставам и светским правилам, восстала и объявила свою власть над

человеком и свое право управлять его мыслями и поступками.

Точный язык Вольтера не был в состоянии служить этим новым вкусам и увлечениям. „Искусство описывать природу“, говорит Сент-Бев,¹ „настолько молодо, что для него еще не придуманы выражения,.. чтобы описать все разнообразие выпуклых, закругленных, удлинненных, приплюснутых или ломаных очертаний горы, вы находите только перифразы, ту же трудность надо преодолеть и при описании равнины и долины. Что же касается какого-нибудь дворца, то описать его не представляет затруднений... в нем каждый завиток имеет свое название“.

Политика создала парламентский язык; чувство природы, любовь и чувствительность в свою очередь должны были создать свой особый язык.

Придворный этикет делал аристократа стойким; он обязывал придворного скрывать душевные волнения и физические страдания, быть всегда улыбающимся и безусловно любезным; поэтому и аристократическая литература не останавливается на описании страданий. Глагол *larmoyer* (заливаться слезами, слезоточить), исчезнувший в XVII в., снова оживает после Революции, так как в буржуазной литературе „страдание должно было послужить высшим проявлением таланта“ (М-м де Сталь), и нервы должны были играть главную роль. В язык было влито

¹ Sainte-Beuve, Etude sur Bernardin de Saint-Pierre publiée en tête de „Paul et Virginie“. Edition illustrée de Furne. (Статья о Бернардене де Сен-Пьере, помещенная как предисловие к „Полю и Виргинии“. Иллюстрированное издание де Фюрна).

большое количество сентиментальных слов: *endolorir* (заставить страдать), *énergation* (расслабленность), *alanguissement* (томление) — „*un tendre alanguissement énerve toutes mes facultés*“ (нежное томление расслабляет все мои способности, Руссо). *Désespérance* (отчаяние), *arrâler* (заставить побледнеть), *varorer* (впадать в меланхолию, истерику), *énamourer* (влюбить), *désaimer* (разлюбить). — „Почему французы не говорят *désaimer*, если они так быстро влюбляются и так скоро перестают любить под влиянием мимолетного каприза?“ (Мерсье). *Tendrifier un cœur comme un gigot de cordon bleu* (смягчить сердце как варенный окорок).

Человек больше не старался вознестись в мыслях; он отдавался чувствам и ощущениям, он отказался от философских размышлений, от разумной критики и позволил увлечь себя „поэзией образов, которые подобно музыке, отдают человека во власть таинственным и смутным грезам“ (М-м де Сталь). Странное явление: сенсуалист Кондильяк облакал мысль в язык сухой и абстрактный, как математика; спиритуалист Мальбранш (Malebranche) „в своих метафизических работах старался соединить идеи с образами“. В революционный период безмерное увлечение прилагательными, сообщающими языку образность, сравнениями, метафорами и антитезами развивалось без всяких преград; при содействии дурного вкуса оно создало напыщенный слог, подобный ужасному напыщенному многословию, перешедшему во времена Петрония из Азии в Афины, ¹ —

¹ *Le Satyricon, Nuper ventosa est haec et enormis loquacitas Athenas ex Asia commigravit (Caput II).*

многословию, которое не превзошли самые нелепые экстравагантности романтиков.

В то время можно было услышать с трибун в собраниях и клубах и прочесть в газетах и брошюрах такие выражения, как: „Неужели ужасная гидра аристократии будет всегда возрождаться после своих поражений? Это она изгоняет истинный разум и порядок“ („Парижская Революция“, № IV, 2 августа 1789 г.).¹ Затем гидра аристократии превращается в гидру анархии: „Гидра анархии может возродиться из своего пепла; постараемся же уничтожить это чудовище и обезвредить его навсегда (там же, № VII).² Гидра превратилась в Феникса, чтобы возродиться из своего пепла. „Аристократия кует себе оружие в мастерской свободы“ (там же № IV). „Барышники не спрячутся от бдительного ока человечества, которое их преследует“ (№ III). „Доверие, свобода, безопасность — вот источники общественного благоденствия“. (Циркуляр Парижского Комитета общественного питания). Лустало (Loustalot) называет эту галиматью „великим принципом“. „Гласность — это защита народов“ (Bailly). Байи имел честь создать несколько эпических слов, которые были приписаны Жозефу Прюдому. Колонн в статье „Mémoires sur les substances“ изображает Неккера имеющим „в виде телохранителя призрак голода и опи-

¹ L'hydre épouvantable de l'aristocratie renaîtra donc sans cesse de ses pertes; c'est elle qui exile la bonne intelligence et le bon ordre („Révolution de Paris“, № IV du 2 août 1789).

² L'hydre de l'anarchie peut renaître de ses cendres; veillons pour exterminer le monstre et l'anéantir à jamais (Ibid. № VII).

раующимся на факел восстания“. „Дух свободы просыпается; он встает и струит на оба полушария свой божественный свет, свой животворный пламень“ (Ф о ш е, Гражданская речь Франклина—Fauchet, Eloge civique de B. Franklin). „Кинжалы клеветы размножились“ (Приказ Лафайета 31 июля 1789 г. — Ordre du jour de Lafayette 31 juillet 1789). „Когда нация устремляется от рабского ничтожества к созданию свободы“ (Мирабо). Революция так разожгла вдохновение холодного педанта Лагарпа, что надев красный колпак, он объявил: „Железо пьет кровь, кровь насыщает его ненавистью, а ненависть несет смерть“. „Народ может навсегда утвердить свободу, только начертав закон, который он будет поддерживать остриями своих штыков“ (Billaud de Varenne, Discours 19 décembre 1792 — Бийо де-Варенн, речь 19 декабря 1792 г.). „Граждане ждут от Наполеона Бонапарта, чтобы он навсегда заткнул кратер революций“ (Bulletin de Paris, 12 Thermidor, an X—Парижский бюллетень, 12 термидора, год X). „Писатели, сыновья революционной бури“. „Желчь, трижды вскипевшая, окружает его сердце точно кремневой стеной“. „Когда огниво анархии ударит по нервам его сердца, — сердце извергает огонь“ (Fauchet, Journal des amis, — Ф о ш е, Газета для друзей).

„Несчастье — горнило, в котором бог закаляет душу“ (Bulletin de Paris, Парижский бюллетень). „Трагедия — исполин, поддерживающий нравственность человека“ (La tragédie est le colosse de l'homme moral. „Décade philosophique“, Thermidor, an VIII. — „Философская декада“, Термидор, год VIII). „Бог — это вечный девственник

вселенной“ (Dieu est l'éternel célibataire des mondes. — Шатобриан, „Гений Христианства“).¹ „Таинственное целомудрие луны в прохладных просторах ночи“ (там же). „Умирающие уста Аталы приоткрылись, и его язык вытянулся навстречу телу Господню, которое поднесла ему рука священника“ (Ш а т о б р и а н, „Атала“).

Литература изображала безнадежность и тщетность человеческого величия. „Земля — это только прах мертвецов, смоченный слезами живых“ („Атала“). „Слава — это только траур счастья“ (М-м де Сталь). „Только через смерть нравственность проникла в жизнь“ („Гений христианства“). „Смерть — это полунебытие, придуманное для того, чтобы грешник почувствовал весь ужас полного небытия“ (там же).

Количество глупостей утроилось в то время. Чтобы судить, насколько этот язык, уснащенный прилагательными, метафорами и антитезами, был чужд языку XVIII в., достаточно вспомнить жалобы Вольтера, негодовавшего на неумелое введение английских слов (redingote от riding coat — платье для верховой езды, boulingrin от bowling green — лужайка, на которой играют в мяч, и т. д.), и возмущенного иносказательными выражениями, как: „зажечь факел восстания“, „мой разум сыплет искры“, „у трона свои обычаи“, „судьба разбрасывает тайны“, „рыцари уходили в могилы, увлекая за собой своих победоносных врагов“.

¹ Цитаты Шатобриана взяты из первого издания „Аталы“ и „Гения христианства:“ именно в них нужно искать произвольного употребления революционной риторики; последующие издания были много раз переделаны.

Морелле, бывший немой от негодования свидетелем метафорических и антитетических оргий Революции, нашел в своем старом сердце достаточно пуризма, чтобы прийти в негодование от слога „Аталы“ и спросить, „во что же превратится французский вкус, язык и литература, если разрешаются такие выражения, как: „пить волшебство с ее губ“, „огненные луны“, „голоса сдиночества угасали“, „влажная почва шептала“, „возгласы рек“, „трупы сосен и дубов“, „столбы дыма, осаждающие облака и изрыгающие молнии“¹ и т. д. Современные читатели, которые знают и худшие выражения, с трудом могут понять гнев и отчаяние Вольтера и Морелле.

Но все нападения были тщетны: новый литературный язык со всеми своими достоинствами и недостатками утвердился окончательно еще до того, как пробил последний час XVIII века; рожденный на парламентских трибунах и на столбцах политических газет и брошюр, он развился и пополнился в романах, которые после падения Робеспьера размножались, как грибы, и в драмах, настойчиво требовавших права на существование.

Он ждал только, чтобы талантливые мастера его отшлифовали, сделали гибким, довели до совершенства и употребляли его в истинных произведениях искусства.

Шатобриан овладел этим новым языком, презираемым престарелыми членами бывшего света и всеми писателями, претендовавшими на изящество стиля: он пользовался им с ге-

¹ A. Morellet, Observations critiques sur le roman intitulé „Atala“, an IX (А. Морелле, Критические заметки на роман, озаглавленный „Атала“, год IX).

ниальным мастерством. „Атала“ — первое романтическое произведение этого века, осмеянное литераторами, но встреченное публикой с исключительным энтузиазмом, так же как двадцать лет спустя были приняты „Размышления („Les méditations“) Ламартина, открыло новую литературную эру: только после того, как революционный язык утвердил в прозе свое риторическое главенство, — Ламартин, Виньи, Гюго и его романтическая школа сумели завоевать ему место и в поэзии.

Как только начал остывать пыл политической борьбы, разгорелась снова литературная борьба, вспыхнувшая перед Революцией: образовалось два лагеря — классиков и романтиков, как их называли впоследствии. „Одна часть литераторов“, пишет Шатобриан, восхищается только иностранцами (главным образом Шекспиром, которого ставит выше Корнеля и Расина), тогда как другая упорно придерживается нашей старой школы. По мнению первых, у писателей века Людовика Великого нет живости изложения, а главное — очень мало мыслей, по мнению вторых, все это нарочитое движение, все эти теперешние усилия мыслить — только упадок и вырождение“ („Mercure“. 25 Прериала X года). Война продолжалась несколько лет; еще в VIII году „Меркурий“ жаловался, что „хвалить Расина значило прослыть врагом Республики, человеком близоруким, фанатиком, стремящимся вернуть старые порядки“ (Фруктидор, год VIII).

Фонтанэ (Fontanès) отыскавший Шатобриана в Лондоне, где тот жил в нищете, и обративший его из атеиста в католика, перепечатывал статьи Вольтера против Шекспира

и уверял, что Вольтер раскаивался в старости, что он раздражил дурной вкус, осмелившийся посадить это чудовище на престол Софокла и Расина“ („Меркурий“, Мессидор VIII года). Шатобриан, преувеличивая мнения своего покровителя, сравнивал „критиков, опирающихся на природу, чтобы похвалить Шекспира, с теми политиками, которые погружают страну в невежество, чтобы выравнять социальные неравенства“ („Меркурий“, 5 Прериала X года). Это была политическая борьба, продолжавшаяся в литературной форме: революционеры были за Шекспира, а реакционеры — за Расина.

В те тревожные дни смятение умов было так велико, что защитниками языка прежнего строя были те же люди, которые поддерживали философские идеи и политические принципы 1789 г. С другой стороны Шатобриан и его друзья пользовались революционным языком для того, чтобы восстановить честь католической религии, осмеянной энциклопедистами, и чтобы вернуть власть священникам, изгнанным народом в 93-м году. Таким образом выходило, что победа революционного языка была утверждена теми, кто считал себя противниками революционных идей.

Язык, возникший между 1789 и 1794 гг. не был новым: если перелистать произведения старых авторов и книги тех писателей, которых называли либертенами и грязными писаками, то в них можно найти все эти вновь введенные слова за исключением небольшого числа созданных на злобу дня; у многих из этих писателей можно встретить те же обороты цветистого слога, ту же напыщенность, которые до наших дней украшают произведения

романистов, именующих себя анти-романтиками¹.

Революция в конечном итоге ограничилась развенчанием аристократического языка и введением в общее употребление языка, на котором говорили буржуа и которым прежде пользовались в литературных произведениях. Этот переворот намечался еще до 89-го года; революция же дала ему сильный толчок вперед.

Язык аристократический, или классический, и язык романтический, или буржуазный, которые в продолжение четырех веков считаются литературным языком Франции, вышли из языка народного, того великого единого источника, из которого писатели всех эпох черпают слова, выражения и обороты.

Монархическая централизация, начавшаяся в XIV в., сделала диалект Иль де Франса и Парижа, ставшего столицей, главенствующим над диалектами других провинций, имевших свою литературную форму еще со времени образования феодальных владений: аристократия, собранная вокруг короля, могла теперь создать свой классический язык, очищая язык на-

¹ Е. и Ж. Гонкуры писали Мишле в письме, тщательно им сохраненном, что „Библия человечества“ (Bible de l'Humanité) похожа на „Индийскую библию“ (Bible indienne); она разрисована, как кашемир, и широка как шатер... У вас есть лучистые фразы, солнечные страницы, благоухающие эпитеты, мысли, дрожащие на стебельках слов, и т. д.“. Кларети (Claretie), воспроизведя это письмо („Temps“ — Время, 30 января 1885 г.), восклицает: „Вам же говорили, что натурализм произошел из романтизма“. Писатели-натуралисты не могут избежать влияния романтизма; Золя вынужден его признать. Они могут заменить устаревшие средние века новым временем, которое также в свою очередь скоро устареет, но они останутся романтиками.

родный, и навязывать его писателям, пишущим прозу и стихи для их развлечения. Литтре (Littré) в известном предисловии к своему Словарю, которое часто перепечатывали без имени автора, удивляется, „почему XVII век счел себя в праве обкарнать такой гибкий и богатый язык (как язык XVI века) и исправлять столь совершенное орудие“. Терпеливый лексикограф, отмечающий параллельное развитие языка и централизацию аристократии, не замечает того, что жизнь при дворе и в салонах требовала языка менее богатого, но более изысканного, чем язык суровых воинов XV и XVI в. в.

Буржуазия, которая со времени открытия Америки быстро богатела и становилась все более могущественной, в свою очередь, но с большим размахом, выкроила из народной речи свой романтический язык, а как только в 1779 г. она добилась власти, она сделала свой язык официальным языком Франции: писатели, жаждущие славы и ищущие богатства, поневоле должны были принять его. Классический язык пал вместе с феодальной монархией, романтический язык, рожденный на трибуне парламентских собраний, будет существовать до тех пор, пока существует парламентаризм.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
<i>В. Гоффеншефер.</i> — Лафарг и проблемы языка (Вместо вводного комментария)	7
<i>П. Лафарг.</i> — Французский язык до и после революции	
I. Язык и среда	19
II. Язык до революции	24
III. Язык после революции	55

ПОЛЬ ЛАФАРГ



ЯЗЫК
И
РЕВОЛЮЦИЯ

„ А С А Д Е М І А „

Цена 1 р. 20 к.

